

СЛОВО
WORD

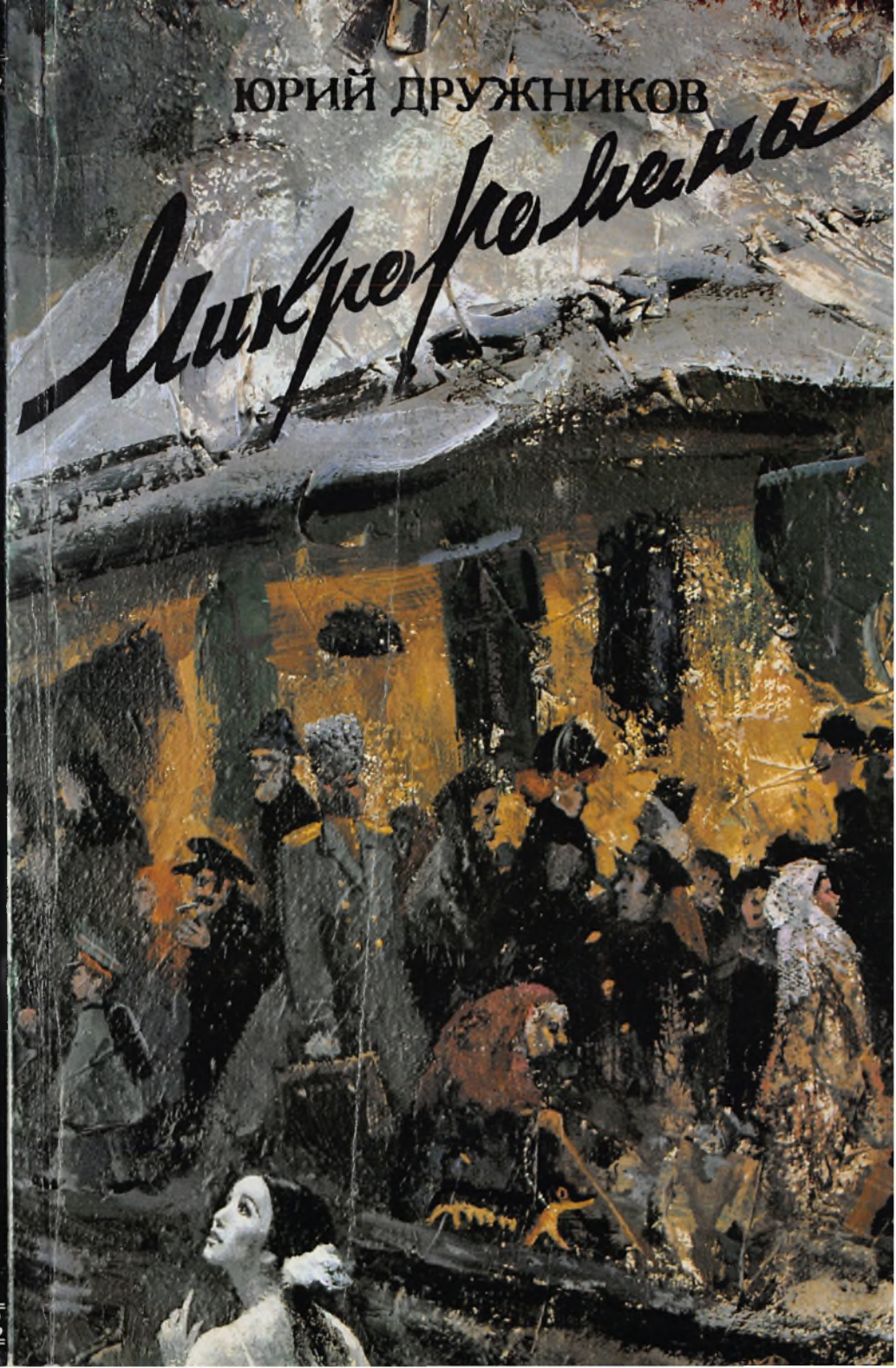
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

Микророманы

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

МИКРОРОМАНЫ

СЛОВО
WORD



**CAOBO
WORD**

**NEW YORK
1991**

YURI DRUZHNIKOV

MICRONOVELS

**WORD
NEW YORK
1991**

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

МИКРОРОМАНЫ

СЛОВО
Нью-Йорк
1991

Юрий Дружников
МИКРОРОМАНЫ
Yuri Druzhnikov
MIKROROMANY (MICRONOVELS)

Нью-Йорк, 1991
New York
1991

ИЗДАТЕЛЬСТВО СЛОВО
Publisher
Slovo-Word Publishing House
139 East 33rd Street Suite 9-M
New York, NY 10016

Copyright © by Yuri Druzhnikov
Copyright © for the Russian edition
by Word Publishing House and Yuri Druzhnikov

All rights reserved. Except for brief quotations in a review,
this book, or parts thereof, must not be reproduced
in any form without permission in writing.

Cover design by Ilya Shenker
Photograph by Ilya Druzhnikov

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 91-090204
Printed in the United States of America

СМЕРТЬ ЦАРЯ ФЕДОРА

1.

В театр Федор Петрович Коромыслов раньше всегда ходил пешком, а сегодня заколебался, не взять ли ему такси. Но решил старой традиции не изменять.

Главный режиссер Яфаров (говорят, с большими связями) позвонил часа три назад и, как ни в чем не бывало, стал расспрашивать о настроении да о самочувствии. Коромыслов злился на Яфарова с тех пор, как тот, воздавая Федору Петровичу почести, одновременно заменял его в спектаклях, пока не вытеснил совсем. И раз звонил теперь, чего-то ему было нужно. Коромыслов уже заготовил отказ, когда Яфаров произнес:

- У нас замена сегодня. "Федора" даем. С тобой...
- То есть? Ведь Скаковский - молодой талант, твои слова!

- Моч. Но сейчас худсовет решил в твою пользу. Прости меня, Петрович, если что не так.

- А репетиция? - возразил Коромыслов, хотя про себя и без Яфаровских извинений согласился. - Без прогона не потяну.

- Какая, к дьяволу, репетиция! Ты ж его раз триста играл.

- Больше. А все же надо бы. Ну, пеняй на себя, если...

- Никаких "если", - отпарировал Яфаров. - Все должно быть в полном ажуре!

Чувство своей незаменимости заставило Федора Петровича забыть обиду. Погорячились они тогда, молодежь, а сейчас осознали. Бог их простит. Театру я принадлежу, не им. Театр меня призвал.

Отшагав Большой Харитоньевский и кусок Садового кольца до метро "Красные ворота", которое он упрямо не называл "Лермонтовским" (что, впрочем, создавало неудобства для других), Федор Петрович скосил глаза на новый памятник молоденькому Лермонтову. Памятник едва было видно в копоты от ревущих грузовиков, двигавшихся густым потоком. Коромыслов ничего не имел против Лермонтова, но и тот, бронзовый, предназначенный выражать восторг от встречи с нашими достижениями во всех областях, стал противен.

С каждым годом это становилось все невыносимее, и дело не в брюзжании Федора Петровича: был тихий переулочек, а теперь не продохнешь. Мясницкие ворота стали Кировскими, Кировские - Тургеневской площадью, и нет зуду конца. Стоит раз переименовать, и все хлипчает, и уже не история, а газетные листы ценой в две копейки. Что осталось от Москвы, простоявшей века? От России что осталось?

Он ворчал по привычке, а в настроении была бодрость. Он любил Москву и не только говорил, но действительно считал, что не променяет ее ни на какой другой город мира (в других странах он, правда, не бывал). И было ясно, что закончит он свои дни здесь, где родился, хотя о конце старался не думать. Не потому, что так уж боялся, а просто это был скучный предмет для мыслей.

Выйдя из дому, он вспомнил, что в возбуждении не пообедал. Домработница Нюша, которая ходила за ним, как за малым дитем, без малого тридцать семь лет, оставила ему инструкцию, в какой кастрюле чего, и поехала проверить, не обокрали ли дачу. Нюша боготворила его; одно время они и спали вместе, когда зимы были холодные, плохо топили и вдвоем было теплей. Коромыслов в молодости

долго любил женщину, которая состояла замужем за другим актером. Роман этот тянулся годами. Не раз она обещала бросить мужа, но так и не решилась. Из-за ожидания или собственной инерции по части детей и брака Федор Петрович остался бездетным холостяком, что не мешало ему время от времени, а по ситуации и весьма часто удовлетворяться случайными закулисными соединениями.

Нюша была права, надо было самому разогреть обед и поесть дома. Нюша всегда оказывалась в практике права, может, именно потому Коромыслов на ней и не женился.

Не в силах забыть про голод, он стал думать, где бы пообедать. Забегаловки общепита с тухлым запахом отбросов и долго не мытой посуды попадались ему по дороге. Сама мысль заглянуть туда отвращала от еды. Там и слова-то человеческого не услышать, не то что поесть. Он завспоминал старые рестораны, которые в молодости его исчезали заодно с переименованиями улиц, обычаев и всего остального. А те, что сохранились, не узнать.

За теми окнами, где сейчас рыгают командированные с Севера, тогда не просто лопали, но совершали гастрономический обряд. Не просто гурманствовали, но коротали досуг, дискутировали о судьбах России, работали. Что говорить! Станиславский с Немировичем в "Славянском базаре" познакомились. За столиком в "Эрмитаже" Власий Дорошевич фельетоны строчил, закусывая куриными потрошками. А Пров Садовский? Тот за чарочкой часами просиживал между спектаклями и репетициями.

Размышления кончились тем, что Коромыслов вошел в булочную, выбил в кассе и взял батон, отломил горбушку, выбросил остальную часть в урну и, матеря Нюшу, которая могла бы съездить на дачу в другой день, стал сухую жевать.

Осень, любимое время Федора Петровича, стояла ветреная и бессолнечная; с деревьев все посдувало, а снег не собирался лечь. Притупив голод и не ощущая холода, Коромыслов в приятной возбужденности легко двигался за кварталом квартал и чувствовал себя помолодевшим и совершенно вне времени. Его обгоняли дрожки, respectable кареты с гикающими кучерами, ландо, сани, крытые медвежьей шкурой, грузовички с солдатами, "эмки" и "зисы", "волги" и "чайки", а он шагал себе в театр, подгоняемый уличным сквозняком. Тут, возле китайского магазина, встретил Есенина в цилиндре и

полосатом шарфе, чисто выбритого и слегка пьяного, как теперь говорят. Возле того угла гаркнул "здравия желаю" Маяковский - этот робот всегда по самому краю тротуара шаги отмерял. Вот здесь, на перекрестке, Марина Цветаева грозила Коромыслову пальцем из пролетки, - никак он теперь не вспомнит, за что. Уж не приревновала ли?

Под конец этого долгого маршрута Коромыслов приутомился. Все же надо было взять такси.

Отворя дверь с надписью "Служебный вход", Федор Петрович по инерции поклонился вахтеру и уже занес ногу над ступенькой, когда сбоку из темноты услышал:

- Паспорт, пожалуйста!

Только теперь заметил Коромыслов, что вместо Максимыча, протиравшего стул здесь около полувека, сидит средних лет мужчина в сером костюме и при галстуке. А по бокам двери и на лестнице стоят хорошо одетые молодые люди.

- А вы-то, собственно, кто такие? - удивился Федор Петрович.

- Ваш паспорт, - повторил спрашивавший.

- Это же Коромыслов! - объяснил Максимыч, неизвестно откуда взявшийся. - Здравия желаю, Федор Петрович. Как самочувствие?

- Ничего не понимаю, - ворчал Коромыслов, ощупывая карманы пиджака в поисках документа.

Наконец нашел, протянул, с недоумением ждал.

Мужчина в сером костюме долго переводил глаза с паспорта на самого Коромысова, поставил отметку в каком-то списке и вернул документ.

- Все в порядке, проходите.

Молодые люди на лестнице отступили в тень.

Коромыслов пожал плечами и стал подниматься по ступеням.

В коридорах, между уборными, ходили новые люди, похожие, по опытному взгляду, на статистов из какого-то современного спектакля. Впрочем, два раза старые актеры бросились к нему с объятьями. Костюмерша Анфиса зарыдала, упав ему на грудь, и он долго не мог ее успокоить.

- Сейчас я... Мигом все принесу... Раздевайтесь пока, - причитала она, пятась к двери и размазывая слезы по щекам тыльной стороной ладони. - Вы такой молодой, такой крепкий. Не женились пока? Надо,

надо... А я мужа похоронила. Водка проклятая. Не то бы жил, как вы...

Переодевшись, он начал неторопливо гримироваться еще до полу- часового сигнала готовности к спектаклю. Делал он это спокойно и размеренно в движениях, будто перерыва не было вовсе. Приклеив бороду, прижал ее пальцами, и чтобы дать клею схватиться, ждал. Слыша голоса в коридоре, Коромыслов, однако, чувствовал, что температура за кулисами выше нормальной, и по эмоциям встречавших его отнес это к себе, - не из-за нескромности, а просто констатируя факт. Суэта мешала ему сосредоточиться, начать другую, царскую жизнь.

На экране пошла рябь и возник занавес. Ведущий спектакля пом- реж Фалькевич поздоровался и предупредил коллектив об особой тщательности подготовки. Затем он прибавил:

- Вводится народный артист Коромыслов. Труппа вас сердечно приветствует, Федор Петрович. Как там у вас дела? Впрочем, Яфаров вот-вот к вам заглянет.

Яфаров вбежал раскрасневшийся, с одышкой. Прокатился лысо- ватым коlobком и сзади положил Коромыслову руки на плечи. Го- ворили, глядя друг на друга в зеркале. Яфаров оглядывал Федора Петровича с заботой и даже нежностью.

- Вот здесь, - он указал на левый край бороды, сам взял кис- точку, подмазал и прижал к щеке.

- Ты чего за мной, как за бабой, ухаживаешь?

- Уж ты постарайся, Федор Петрович, не посрами!

- Да перед кем не посрамить-то? - воскликнул Коромыслов, и проскользнула вдруг мыслишка в подкорке. - Скажи, братец, Христа ради, уважь старика!

- Не мог я тебе по телефону это сказать, - объяснил Яфаров, пе- рейдя на полусшепот. - Меня предупредили, чтобы не разглашать. Се- годня Сам у нас в ложе.

- Это кто - Сам?

- Подумай, тогда и вопрос отпадет. Ну!.. То-то ж! Ведь Сам "Царя Федора" шесть раз уже смотрел. И всегда с тобой... Между нами, Петрович, я был против того, чтобы тебя заменять. Но Ска- ковский, сам знаешь, чей протезе. Министру культуры велели, а он

нам навязал, пришлось. Но сегодня разве ж мыслимо рисковать? Вся надежда на тебя. Спасай, отец, театр!

Коромыслов поколебался, не спросить ли, чей же протеже Скаковский, но воздержался.

- Не бойсь, Яфаров, - мирно произнес он. - Я таких Самов знаешь сколько перевидал? Самы уходят, а театр все стоит, батенька ты мой! Подумаешь! Тоже мне птица, Сам...

- Тс-с, - Яфаров закатил глаза к потолку и приложил палец к губам. - Знаешь ведь, какое о нас сейчас мнение в некоторых кругах. Дескать, растеряли традиции, любой плебей играет королей... Я, допустим, решительно с этим не согласен, мы идем вперед. Не так быстро, как хотелось бы, но идем. Не можем мы запретить думать о нас, что кому взбредет. А если наверх критика дойдет?

- Суета! Искусство, братец, выше суеты.

- Это куда ты не главный режиссер, - уныло пробурчал Яфаров. - Со вчерашнего дня театр лихорадит. Везде личная охрана: "Куда ведет эта лестница? Люк заprite на замок. А тот прожектор - в ложу не будет слепить? Этот выход перекроем, зрителям хватит других..." Правильно, конечно. Мало ли что?.. Побегу, взгляну с противоположной стороны в ложу. Если опаздывает, придется подъем занавеса задержать.

Все же тот факт, что Яфаров лебезил, был приятен. Старая гвардия не сдается, и мы пока что незаменимы. Сам тоже эту незаменимость должен увидеть на сцене, чтобы не забеспокоиться от опасной мысли. Вот почему они меня вызвали. Сам шесть раз смотрел и последние два раза всплакнул. Федору Петровичу после осветитель говорил, в каком точно месте. Плакать Сам стал оттого, что постарел, а все же это тоже льстит. И симпатия к нему проскользнула у Коромыслова, обычно всем недовольного. Теперь он на виду у Самого покажет своим гонителям, каков настоящий царь Федор.

Тихо и размеренно пошел спектакль. Отключившись от брэнной жизни, царь прошествовал по коридору, поправляя перстни на пальцах, и стал медленно подниматься по винтовой лестнице. Голос помрежа Фалькевича "Коромыслов, ваш выход!" прозвучал в пустой уборной. Двое рослых молодых людей в штатском широченными плечами загорали железную дверь на сцену. Царь Федор сделал

величественный жест мизинцем, и они отпали к перилам, скороговоркой выдавив:

- Пжалста...

Зал встретил Коромыслова гудением узнавания, после чего пошел бурный аплодисмент, и царь Федор задержал вводную реплику. Несмотря на это, он постарался войти в действие незаметно, сдержанно, и только потом, разогреваясь в Федоровских метаниях, сомнениях и страхах, набирал глубину. Труд и опыт долгих лет спрессовались, и алмаз заиграл теперь, заискрился, освободившись от оков брэнного актерского "я".

В какой-то момент это "я" напомнило: разгулялся ты слишком, снижаешь образ, переигрываешь для юмора, уходишь в пародию; раз ты почувствовал это, вот-вот схватят Ирина, Клешнин, Шуйский. Подчинятся тебе, именитому, а там и до зрителя дойдет. Но Федор Петрович не мог остановиться. Он играл теперь себя, каким он был бы на месте царя, и это было как озарение, впрочем, возможно, неуместное. Уходя со сцены под продолжительные аплодисменты, он думал самоудовлетворенно, что царя, мечущегося и слабого, он подал сегодня, как никогда, и Самого не могло не пронять, если он не в полном маразме. Коромыслову хотелось, чтобы нынешний царь узнал на сцене себя.

Яфаров, между тем, принял царя Федора у кулисы в объятия и в ухо ласково прошептал:

- Сам дважды аплодировал, и жена тоже. Оба раза тебе. Я, конечно, заранее дал указание добавить пленку с хорошими аплодисментами, чтобы температуру в зале поднять. Но ты, Петрович, молодец. Спасибо, отец! Погорячились мы с твоим уходом. Теперь я за тебя в огонь и в воду. Даже против министра пойду. Проси, что хочешь, хоть полную ставку!..

Коромыслов все это слушал и молча принимал как должное.

Второй акт мчался для него на едином дыхании. Труппа потянулась за старым рубакой, голос которого метался между слабостью и силой, меж ненавистью и лаской. Коромыслов был уверен, что и зал, как всегда, поддастся его гипнозу.

Не занятый в очередной картине Федор Петрович едва успел самодовольно расслабиться на диване, чтобы отдышаться, как вбежал Яфаров.

- Беда-то, беда-то! Ох ты, Господи! - слова лились из него в беспорядке. - Ведь в середине еще акта я глядел, все было в ажуре. То есть выражения, конечно, не угадал, темно, занавешена ложа. А сейчас нету в ней никого, пустота!

- Может, по нужде прошел?

- А охрана? Охрану-то сняли!

- Без него охрана не уйдет. Уехал. Это бывает. Мало ли какие дела? Может, че-пе какое... Ну, войну кто объявил...

- Ох, Федор Петрович, оптимист ты! Или начхать тебе на все, коль скоро уже на пенсии. А если не понравилось?

- Почему же "не понравилось"? Скажем, переел чего, желудок схватило или почки... Он ведь постарше меня. Да просто спать захотел!

- Спать? У нас в театре?! Ну, знаешь! - Яфаров причитал, больше не слушая встречных доводов. - С кем посоветоваться? У кого узнать, почему не досидел? Министру культуры доброхоты утром уже донесут. Ведь аплодировал сперва... Плакали наши гастролы в ФРГ.

- Да брось ты! Одному царю не понравился другой, только и делов. Нешто мы непривыкшие? Россия, братец, видывала разных царей. Кто их знает, что у них на уме, какая вожжа под хвост попала... Плеваты!

- Ежели ты такой храбрый, вот и позвони сынку-то Самого. Помнишь, ты с ним когда-то в санатории ЦК водочку пил? Представь дело посolidнее, побренчи заслугами театра, объясни: так, мол, и так, как следует трактовать? Пусть спросит у папаши. Важно, мол, театру для творческого совершенствования. Да не крути носом! Не мне надо - народу. Вон Охлопков, когда его назначили замминистра культуры, сказал: "Мне легко, я на сцене царей играл". И тебе должно быть легко позвонить. Не откладывай. Попытай счастья, голуба!

Яфаров убежал. Видно, не такие уж у него большие связи наверху, раз трясется и даже позвонить боится.

Коромыслову, в отличие от Охлопкова, перевоплощение в цари давалось тяжелым напряжением сил, и его уверенность в себе колебаться не имела права. Сам ушел, не дождавшись того места, где плакал. Значит, не в нем, Коромыслове, дело, и он не может быть виноват. А в чем же эта неприятность, постигшая театр? Яфаров прав:

СМЕРТЬ ЦАРЯ ФЕДОРА

попытка - не пытка. Чепуха так чепуха, а если серьезно, узнать, что же именно. Сразу после спектакля и позвонить.

Федора Петровича потребовали на выход. Он встал и понес с собой на сцену внезапно свалившуюся ответственность, и даже торжество: доказать Яфарову и его людям, что он, Коромыслов, спаситель театра, который они губили, использовать внезапно представившийся шанс.

Давно он не волновался перед выходом на сцену. Это была работа. Но тут, ожесточившись на самого себя, он пребывал в напряжении, которое никак не мог подавить привычными усилиями тренированной актерской воли. Вялость разлилась по телу и не проходила.

Поставив декорации восьмой картины, рабочие разбежались за кулисы.

- Подол я вам подшила, Федор Петрович, - прошептала Анфиса, - не беспокойтесь.

Он не заметил, что она стояла позади него на коленях.

- Я пуговицу потерял, Анфиса, - сказал он ей, ткнув себя пальцем в грудь.

- У вас выход, - испугалась костюмерша. - Где же такую сейчас взять? Давайте я пока вам это место через край пришью, чтобы держалось, а после уж переделаю.

Кивнув, он смотрел на желтые и красные софиты, которые зажигались парами, подсвечивая своды царских хором. Анфиса склонила голову ему на грудь и зубами перекусила нитку.

- С Богом! - она оглянулась, не смотрит ли кто, и поспешно его перекрестила.

Вялость прошла, но не хватало воздуха. К горлу подступил комок страха. Страх просунул костлявые пальцы под ребра и больно сдавил сердце.

- Что-то света много, - сказал Коромыслов. - Спят!

- Не может того быть, Федор Петрович. Это уж как всегда. Софиты двадцать лет не меняли.

Он отпустил кулису и прошел на сцену, усевшись в резное царское кресло. Его одежды, хотя и на марле, и мех не соболий - синтетика, мешали дышать.

- Занавес! - донеслась до него из репродуктора команда Фалькевича, и сразу загудел мотор.

Из зала хлынула волна воздуха с запахом человеческого пота и духов. Боль исчезла, а может, он забыл про нее. И вдруг снова сжало. Царь Федор обтер пот с лица, как того требовала роль, и погрузился в государственные бумаги. Ирина положила ему на плечо руку:

"Ты отдохнул бы, Федор..."

Давно привык Коромыслов: едва он начинал работать, в зале устанавливалась тишина, хотя он еще не бросил ни реплики. А произнося монологи, он умел полностью владеть залом. Мог смять его в комок или расшевелить одним жестом, одной интонацией.

Но тут тишина в зале стояла особая. Никто не кашлянул, не задел о подлокотник биноклем, будто боль коромысловского сердца передалась всем, и все боялисьдохнуть, чтобы у него не кольнуло под лопаткой.

Сидя на троне, он незаметно расслабил тело и чуть прищурил глаза. Так стало легче говорить. Но уже надо было встать, потому что вошел Клешнин "от хворого от твоего слуги, от Годунова".

Коромысов, играя, никогда не думал, что должен сделать в данный момент. Все свершалось само собой. Режиссерские находки автоматизировались в нем, исходили от самого его существа, и все бы катилось дальше, если бы не эта жгущая боль.

Он старался едва заметно повернуть лицо к залу, оттуда тек воздух, и ему легче было глотать его. Стало совсем худо, и он вспомнил о нитроглицерине. Нуша аккуратно клала ему трубочку во внутренний карман, на всякий случай специально пришитый к его нижней рубашке, и напоминала, если что, вынуть таблетку и пососать. Чтобы достать нитроглицерин, нужно расстегнуть тяжелое платье. Он ощупал пуговицы, а той, которую надо отстегнуть, не нашел. Одну полу к другой Анфиса пришила суровой ниткой. Федор Петрович попробовал оторвать пришитое, но не хватило сил. Черт дернул сказать Анфисе про пуговицу. Между тем, он продолжал играть.

2.

Коромыслову шел семидесятый год, не так уж много для человека его комплекции и здоровья.

- Я мужик, меня ничто не берет, - хвастался он и давал потрогать бицепс.

Сердце стало пошаливать последние года полтора. И почему-то сразу сильно.

Не ходил он к врачам, не жаловал их с детства. А весной наскоком устроили в театре профилактический осмотр всех поголовно. Не хотелось казаться упрямым стариком перед молодыми, и дал он себя щупать. Врачиха из спецполиклиники, помяв ему живот, чуть-чуть послушала сердце, похлопала по плечу и отошла пошептаться к коллеге. Коромыслов самодовольно усмехнулся. Но они вернулись вдвоем, слушали обе и морщились. Потом вторая врачиха взяла листок бумажки, написала номер своего кабинета и велела явиться назавтра к ней в поликлинику.

- Хотя вы царь, - сказала врачиха, а сердце у вас, как у овечки. - Манкировать не советуя.

Он был абсолютно уверен, что это чепуха. Но электрокардиограммы, анализы крови, мочи и еще чего-то скоро выросли в толстенную историю болезни, которую он назвал таинственной комедией из своей жизни, сочиненной врачами. Текст врачи, как известно, в руки пациентам не дают, а играть эту комедию приходится.

Когда обследования в спецполиклинике кончились, профессор Бродер, который годился Федору Петровичу в сыновья, встал и поучительно положил ему руку на плечо.

- Я вас уважаю, не раз видел на сцене, знаю, что театру без вас будет плохо, и вам без театра...

Бродер не договорил и посмотрел в глаза Коромыслову.

Не понял тогда Федор Петрович, в чем дело, или просто не хотел понять и рассказал Бродеру историю, которую ему поведал актер Абдулов. Тот лежал в одиночестве с приступом грудной жабы. Еле-еле дополз до телефона и звонит врачу. Врач отвечает, что болен. "Лучше приходите, - говорит ему Осип, - а то будете отвечать". Врач пришел и упал. Абдулов притащил его на постель и, слушая его указания, стал давать лекарства. Привел он врача в чувство, с сердцем у того полегчало, и врач ушел домой. Через несколько дней, когда Абдулов, отлежавшись, выздоровел, он опять позвонил врачу справиться о здоровье. Ему ответили: "Доктор умер..."

Бродер выслушал со снисходительной улыбкой.

- Запретить вам не могу, но частые стрессы вам противопоказаны категорически. Я бы на вашем месте себя пощадил: на сцену

раз в неделю, а больше - это риск. Не сокращайте себе жизнь. Катайтесь по санаториям, кроме юга, конечно. Гуляйте по скверу, уезжайте на дачу. За девушками можно... подглядывать. Иначе - за последствия не отвечаю.

Скрыл бы Коромыслов эту кутерьму от дирекции, да Бродер дорожку перебежал: увидел имя пациента на афише и рассказал Яфарову, с которым, как оказалось, был знаком семьями. Тот использовал представившийся козырь: в интересах сохранения здоровья Коромыслова сократить его рабочий репертуар.

Безо всякой ложной скромности Федор Петрович полагал, что театр с его уходом терял свое величие, и компенсировать утрату нечем. Яфаров считал иначе: прогресс искусства неостановим, и новое должно, согласно диалектике, побеждать старое. Практически Яфаров под этим подразумевал выведение на первые роли нужных людей, а заодно избавление от тех стариков, которые своим занудством и ссылками на классику препятствовали принятию новых пьес из министерства культуры.

Трудность оставалась только с "Царем Федором". Отменять постановку, идущую с 1896 года, не разрешали, и теперь худсовет собрался, чтобы найти выход, то есть альтернативу Коромыслову. Ввели нового Федора - Скаковского. К седьмому прогону тот пообтесался, спектакль заковылял и вскоре появился на афишах без Коромыслова, будто его и не было никогда.

Доживающие до пенсии актеры утешали:

- Ну, чего нам, Федя, нужно? Талант, деньги, слава, ордена, дача - все тебе дадено. Смири гордыню! Собирай теперь спичечные этикетки, как Качалов, или черепаху купи в зоомагазине на Кузнецком и гляди, как ползает. Да оглянись на свое прошлое существование: отдыхали мы когда-нибудь? Зациклился ты, Федя, уймись! И паровозу отдохнуть надо.

Не возражал он, только рассматривал советчиков как диковинные экспонаты. В чем они хотят его убедить? Черепаха ему не нужна, и он не паровоз.

Был он гибридом простых и благородных кровей. Отец его, потомственный дворянин, две трети сознательной жизни провел в Италии, а в один из заездов в золотоглавую согрешил с молоденькой прислугой,

зачав народного артиста СССР. До революции Коромыслов выпячивал первую ветвь своих предков, после - вторую.

Желторотым мальчишкой бегал он в этот театр, деньги собирал по копейке, экономя на гимназических завтраках. В мировую войну Коромыслов остался без отца, а в революцию без матери. Голодал, обивал черный ход театра, чтобы попасть в него хоть кем-нибудь, лишь бы очутиться за кулисами. Театральный буфетчик приспособил его гардеробщиком, поскольку за право иметь доход от буфета обязан был содержать гардероб бесплатно.

Повесив все пальто зрителей, Федор надрывал живот над ящиками с бутылками сидра и шампанского, тасил их на второй этаж, а раздав все пальто после спектакля, мыл и протирал бокалы. На репетициях он носил чай в уборные к артистам, и его любили за то, что не отказывал принести рюмашечку по-тихому и ловко пародировал актеров. В пародии он попался на глаза Мейерхольду, тот сказал о нем Немировичу. Как любил повторять Федор Петрович, Немирович согласовал вопрос с Данченко и заметил:

- Этого страшно выпускать статистом. Уж больно внимание на себя притягивает.

Но - с одной репликой, в переднике и при метле, Немирович-Данченко его на сцену выпустил. С того момента, как вспоминал Коромыслов в ЦДРИ на своем чествовании по случаю шестидесятилетия, я стал солистом богемы. От богемы-то одно название, а остальное - пот. В поту и пошла далее его карьера, а то, что до, кроме и после - было предисловием, примечаниями, комментариями, которые вполне можно выкинуть как несущественные.

Приняв его тело, театр потребовал душу. С детства он был человеком набожным, но в церковь давно уже ходить остерегался, и Юша на всякий случай перевесила Богородицу к себе в комнату. Потом пошло в театре веяние, что героев Октября должны играть члены партии, и он повесил на себя этот ярлык, хотя не очень понимал, зачем он ему. Пьесы казались ему бесчувственными, он говорил, что играет не роль, а текст. И все же играл. В этом была даже увлекательность - вытягивать ничтожные характеры за счет своего божьего дара. Студенты из училища спрашивали: "А передовую "Правды" сможете сыграть?" И он отвечал: "Еще как!"

Ему дали звание народного и от имени театра поручили выступить с благодарностью и хвалой Сталину, организатору и вдохновителю театрального искусства. Он оглаживал своим бархатным голосом гальку пустых и, в сущности, ничтожных слов, написанных специально по этому случаю, и произвел впечатление. На банкете его подвели к Сталину, и рука Федора Петровича была им лично пожата. После этого потекли одна за другой Сталинские премии. Однажды ему сказали, что всех, кто играет с ним в спектаклях, не сажают благодаря ему. Но это не была ни заслуга, ни вина Коромыслова, - ему просто везло. Уже после смерти Сталина реабилитированный Мордвинов, вернувшись из мест отдаленных, сказал Федору Петровичу, что у них там, в лагерном театре, такие были силы, а все же отсутствие Коромыслова ощущалось.

В том потоке сиюминутных пьес толстовский "Царь Федор" почему-то оставался, а в пьесе, следовательно, оставался Коромыслов. "Тебя специально при рождении Федором обозвали, предвидели, - под выпивку гудели приятели. - Только чего рвешь себя на части? Втянулся ведь, ну и играй спокойно. Ремесло ведь!"

Он чувствовал, что сохраняет себя в этой роли от измельчания. "Царь Федор" был для него в потоке времени, смешанном с дерьмом, опорой, связью веж, знаком того, что еще не все затоптано вокруг и в душе его. Остальное пошло в распыл, а этот старый дуб зеленел.

В театр Коромыслов спешил, будто опаздывал, хотя являлся за-долго. Обратно шел медленно и бесцельно. Он не знал, чего нет в магазинах, как живут люди, зачем производят детей. Собственный дом был для него ночлежкой, где он имел койку, окруженную дорогой мебелью, которая нужна была только Нюше, чтобы протирать пыль. Сплетни, подсиживания, призывы и указания сверху он воспринимал преходящим, суетой. Важно только то, что на сцене, тут жизнь. А в остальной, действительной жизни все есть игра.

Оставшись без "Федора", единственной своей опоры, Коромыслов, однако, не приостановился, но углублялся в унижение и халтуру, боясь потерять все. Он согласился играть утренние спектакли для детей.

По воскресеньям зал набивали ребятней всех возрастов. Младшие дохрустывали вафли, принесенные из буфета, отношение к действию высказывали вслух и во время акта ходили по проходам.

- Федя, на кой тебе утренники?

- А для поддержания формы. У меня, братцы, отдача полнее с утра, когда я еще не устал.

Врал Федор Петрович. Скучно ему было дома, хоть вешайся, а в театре все трудней.

В новой пьесе о рабочем классе "Металлурги" Яфаров дал ему маленькую роль, полагая, что Коромыслов оскорбится. А тот взял. Конфликт вышел из другого. Яфаров вдвухвал воздух в мертвые легкие пьесы, искал оживления. Старый кадровый рабочий должен был, по замыслу Яфарова, выезжать на сцену на велосипеде.

- Я-то выеду, мне что, - согласился Федор Петрович. - Но зритель только и будет думать, свалюсь я в оркестровую яму или нет.

- Не учи меня! - огрызнулся Яфаров. - В Большом, вон, слона выводят на сцену и то ничего.

- Так то ж Большой, для иностранцев показуха. А здесь кто же тебя научит? Metallурги? - он на ходу переделал слово. - На театре уцелели единицы, еще помнящие, что есть искусство. И эти единицы уходят. Вы наследники, а тайны нашего дела спешите выбросить на помойку. Ну и куда же вы будете двигаться?

- Голуба! - примирительно отреагировал Яфаров. - Театр меняется. Пойми, теперь другие масштабы режиссуры. Играет коллектив. Не я это придумал - эпоха. Звезды только дробят генеральный замысел. Ты, Федор Петрович, при всей нашей любви к тебе, человек предыдущего времени. Тебе этого уже не понять.

Коромыслов сдался. Махнул рукой и, сославшись на здоровье, ушел совсем. В "Металлургах" его без особого труда заменили.

За последние месяцы он привык к мысли, что театру он обуза. Халтура, забвение старых заветов проще и потому удобнее. Организация дела вполне заменила талант. Всю весну он гулял от Мясницких ворот до Никитских и обратно, хотя это было противно и глупо.

- Как здоровье, Федя? - встречал его кто-либо из стариков.

- "Всем ведомо, что я недолговечен; недаром тут, под ложечкой, болит", - играл он Федора Иоанновича, но тут же прибавлял: - Да ничего у меня не болит. Ну их всех! "Я царь или не царь? Царь иль не царь?" Общупали меня и кляузу сочинили, а я здоровше их всех вместе, как козел в марте.

Едва потеплело, они с Нюшей уехали на дачу. Он гулял в саду вдвоем с котом и с ним беседовал. Кот этот потрясал своей дружбой Федора Петровича, облегчал переустройство психики. Однажды вечером кот появился на террасе, мякнув, и всем своим видом зовя куда-то хозяина. Хозяин встал, побрел за ним. Кот бежал впереди, показывая дорогу, и привел его к двум кошкам, ожидавшим у калитки. Вот какая это была щедрая дружба: он привел двух кошек - одну себе, другую Федору Петровичу. В конце лета кота сбил мотоциклист, и Коромыслов с Нюшей похоронили его в саду под сливой.

В сентябре прослышалось, что в театральном музее Бахрушина есть стенд с фотографиями, рассказывающий о творческом пути народного артиста Коромылова. Он поехал посмотреть. Молоденькая девушка-экскурсовод что-то бормотала группе беззаботных школьников, к которой он пристроился. Когда он после экскурсии назвал себя, девушка испугалась:

- А вы разве живы?

"Да я царь этого театра! - хотел крикнуть он. - Все вымерли. Я последний мамонт..."

Но, конечно, ничего не произнес, понимая эту девушку, которая твердо знала, что экспонаты покоятся на стендах, а не приходят на экскурсию посмотреть на себя.

3.

С искаженным от боли лицом Федор Петрович продолжал работать на сцене. Он вдруг отчетливо ощутил, что потерял контакт с актерами, играет в неживом театре один. Вокруг по сцене ходят тени. Яфаров искорежил пьесу новыми вводами, сделал вырезки, и изуродованную пьесу не узнать. Он, Коромыслов, один играл в ней всерьез, но силы иссякли. Да Яфарова за сто верст нельзя к сцене подпускать. Он насильник Мельпомены, могильщик искусства. Коромыслову с ним не по пути, и зря он нынче согласился. Потрафил мелкому своему честолюбию, стал ширмой, прикрыл позор своей широкой спиной.

И мысль, простая, как глоток воды, сейчас, на сцене, вышла на поверхность сознания Федора Петровича: он один - театр. Только поэтому противился он уходу - они не понимали этого - сопроти-

влялся не для себя. Злобы к Яфарову Федор Петрович не имел. У того ведь трое детей, большая жена, две пожизненных любовницы, одна почка и квартира, только что полученная от министерства, которую надо оправдать, а затем получить казенную дачу. Театр заботил Коромыслова, вызывал тревогу, почти отчаяние. Театр умирал - Коромыслов спасал театр. Последнее усилие, чтобы поддержать умирающего. А может, следом за пьесой, уже и театр умер? Я еще кое-как брожу по сцене, а я-то живой ли?

Действие между тем достигло покоев царицы в царском тереме. Впервые в жизни Коромыслов отделился от роли, играл ее автоматически, а мыслями, и заботами, и горестью своей был вне и не мог возвратиться. Сдавливало виски, он то и дело подносил руки к шее, пытаясь оттянуть воротник, вздохнуть поглубже, но вздохнуть не мог: каждый раз слева чувствовал укол. Он плохо видел вбежавшего Шаховского и никак не мог ухватить рукой протянутую ему челобитную.

Еще немного и кончится, кончится, все-таки кончится эта картина. В следующей меня нет, а после антракт. Там уже отдышусь. Но картина никак не кончалась, и он не очень был уверен, действует ли он, произносит ли те слова, что надо, или ему только кажется. Яфаров и остальные, они победили, выбили его из колеи. Он потерял уверенность в единственной правильности интонации и жеста, которая была ему свойственна всю жизнь. Он поплыл. Они мертвецы, но ведь и меня умертвили, и я плохо играю. Зритель кашляет все время. Это не от того, что эпидемия гриппа. Это я вял, скучен, работаю без огня. Сам пришел в театр в сентиментальном состоянии поплакать, но понял, что не заплачет, и ушел домой, чтобы напиться. Почему мне так плохо? Это от усталости, от бесполезности борьбы я... я...

Мысль закрутилась на одной букве и превратилась в серию искр, взлетевших в высоту сцены и погасших. Ногти впились в ладони. Он заметался, сидя на царском троне, сник и вдруг ясно понял, что играет собственную смерть.

Такой роли ему раньше не поручали. Он играл свою смерть, и роль эта неожиданно потребовала от него такой силы, какой он не обладал. И душа его рванулась, пытаясь преодолеть самое себя. Его рука напряжением всех мускулов судорожно обхватила государственную печать. Язык облизал горячие и сухие губы, и царь Федор с ненавистью бросил:

"Тебя - мою Ирину - тебя постричь!"

"Ведь этого не будет!" - бросилась перед ним на колени Ирина, наконец, дождавшись реплики, с которой он так долго тянул.

"Не будет! Нет! - поднялся во весь рост Федор Иоаннович, произнося фразы, которых мозг уже не понимал. - Не дам тебя в обиду! Пускай придут! Пусть с пушками придут! Пусть попытаются!"

Он сделал несколько хаотических, пьяных шагов навстречу князю Ивану Петровичу Шуйскому, взмахнул рукой, угрожая проклятьем, и захлебнулся. Боль заволокла сознание и свела тело. Князь Шуйский качнулся и стал падать на Коромыслова. Поняв, что тело не подчиняется больше ему, Федор Петрович попытался сделать шаг, чтобы уйти со сцены. Еще один шаг... Кулиса подплыла к нему синим облаком, и он повис на этом облаке, обняв его, как последнее живое существо, которому он мог отдать неизрасходованную ласку. Затрещали гнилые нитки, не выдержав веса тяжелого тела, потому что кулису Федор Петрович обнимал уже мертвый.

Костюмерша Анфиса, поняв, рванулась к нему, первый раз в жизни показавшись зрителю. В зале кто-то засмеялся. Анфиса не удержала тяжелого тела, и оно осело на пол.

Занавес быстро закрыли. Немногие зрители успели заметить и сообразить, что произошло, но неизвестная тревога передалась всему залу. Главного режиссера немедленно вызвали из кабинета.

- Наверх он позвонил? - спрашивал Яфаров, пробираясь сквозь плотное кольцо. - Узнал что-нибудь плохое?

Никто не мог ему ответить, только пропустили вперед. Медсестра уже сложила руки Федора Петровича на груди, медленно опустила ему веки, придерживав их пальцами, и стала разбирать шприц.

Яфаров опустился рядом с ней на колени и сжимал себе виски, будто сомневался в том, что видит.

- Федор Петрович, - глухо пробормотал он, поправляя мятого синтетического соболя на расшитом золотом царском одеянии, - прости меня, грешного, дорогой ты наш товарищ, прости нас всех. Во, несчастье-то какое... Вот ведь...

- Чего ж несчастье? Для нашего брата всегда почиталось за счастье на сцене умереть.

- Да ведь не в таком ответственном спектакле! - Яфаров поднялся с колен. - А если бы...

Он не договорил, но все поняли. Яфаров подумал, что Сам, может, и вправду семи пядей во лбу: предчувствовал и потому отбыл раньше.

- Где скорая? Вызвали? - чтобы придти в себя, режиссер принялся за распоряжения.

- Скорая прибудет вот-вот.

- Родным сообщили?

- Какая у него родня! Домработница... Чего ей сюда ехать, когда его в морг...

- Кто залу объявит? - спросил Фалькевич.

- Я, кто же еще? - с остервенением ответил Яфаров, отряхивая колени.

Фалькевич подбежал к микрофону, командовал:

- Свет белый с двух сторон на занавес! Рампу не надо.

После краткого сосредоточения Яфаров отогнул занавес и вышел под свет. В зале установилась уважительная тишина. Медленно подбирая слова, Яфаров объявил, что ввиду внезапного заболевания актера, администрация театра просит извинения за спектакль, не доведенный до конца. Он не знал, можно ли без согласования с руководством сказать о смерти, и не назвал также имени актера.

Билетерши уже успели по своим каналам узнать, в чем дело, и сообщили тайну своим зрителям, которых они пропустили за наличные, скромную прибавку к мизерной зарплате, а те передали новость соседям. К моменту выхода главного режиссера перед занавесом часть зала правду знала, другие догадывались, и зал гудел ульем. Но поскольку правда эта была неофициальной, к сокрытию ее главным режиссером все отнеслись с пониманием.

Некоторое время Яфаров постоял с разведенными в извиняющемся жесте руками, ожидая, пока зрители начнут подниматься. Зрители, однако, ждали, пока он уйдет со сцены и в зале дадут свет. Когда это произошло, зал постепенно зашуршал, люди начали вставать, и обычная гардеробная толкотня взяла всех в свою власть.

Выходя из театра, зрители в нерешительности останавливались. У театрального подъезда, запрудив улицу, образовалась толпа.

- Там есть смерть Шуйского, есть смерть Дмитрия, - рассуждал филологического вида юноша в кругу симпатичных подружек. - Черт

его знает, может, Федор тоже должен был умереть? Поднимите руки, кто в школе историю проходил?

Театралы, тихонечко переговариваясь, пробирались поближе к служебному входу, ждали. Молодые люди подсаживали подруг на сваленные штебелями декорации. Потом все зашевелились, задвигались, стали давить друг на друга. Из ворот выехала скорая помощь. Она притормозила, замигала фарами, тронулась, опять замигала.

- В реанимацию, - сказал голос в толпе.

- Поздно в реанимацию, умер...

- Почему - умер? - спросили одинаково с разных сторон.

- Если бы не умер, скорая сирену бы включила. А теперь ему спешить некуда.

- Не знаете, а говорите! Яфаров объявил, что заболел. Значит приступ. Сейчас таких поднимают.

- Поднимают и в гроб кладут.

Это уже оказался чужой гражданин, не известно почему проникший в толпу людей, причастных к театру. О ком идет речь, он не знал, но, дыша водочкой, свое мнение изложил:

- Ждите, подымут! У меня тетка два месяца лежала. Сказали, пускай гуляет. Она встала - и с копыт долой.

У случайного гражданина нашлись единомышленники.

- Сейчас, говорят, или инфаркт, или рак - только и выбирай.

- Врут все! Помереть от чего хошь можно: и от гриппа, и от бутылки.

- Народ мудёр, все-то он знает, - пробурчал старичок в обтертом пальто.

- Ах, Наташа! Смерть царей в России - самое любимое зрелище, - говорил, выбираясь из толпы и таща за руку свою полную подругу, седой интеллигентный человек без шапки. - Тут нашему народу и хлеба не надо. Посмотрели, разошлись и счастливы. Пойдем, Наташенька!

- Разговорились! Дайте скорой-то проехать. Все-таки артист!

- А что артист? Ему что царя, что Ивана-дурака играть. Профессия.

- Так-то оно так, а все же, видно, нервное дело играть царей, раз при исполнении сгорел.

- Не слушай их, Наташа! Пошли спать...

СМЕРТЬ ЦАРЯ ФЕДОРА

Скорая выбралась, наконец, на улицу и тихо, не включая сирены, покатила мимо театра по улице. Три с половиной столетия спустя по Москве вторично везли в последний путь царя Федора Иоанновича. Однако на этот раз царь был в гриме.

РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙ

С некоторых пор Никольский потерял вкус к книгам. Но сегодня читал с интересом. Интерес этот подогревала женщина.

Никольский приподнял очередную стопу томов, пытаясь по весу определить, одолеет ли он их за день. Книги торжественные, как старинная мебель. Ржавые кожаные переплеты отсвечивают остатками золотого тиснения. На некоторых томах латунные застёжки, дабы мысли из книг не улетели, а лежали сплюснутыми до востребования.

Кивнув библиотекарше, дежурной читального зала для научных работников, Никольский отнес стопу на стол, под старинную лампу с розовым абажуром, у которого был отбит край и поперек шла трещина. Вид у лампы был (как бы это поточнее сказать?) неуместный.

РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙ

Похоже, она переместилась сюда, в областную библиотеку, из чьего-то будуара, а раньше была свидетельницей совсем другого, сугубо интимного аспекта жизни.

Роза, библиотекаря лет чуть больше тридцати, бедновато одетая, со вниманием следила, как импозантный посетитель уселся поудобнее, помассировал чисто выбритые щеки и поправил галстук, каковой без того лежал безукоризненно между белоснежных хвостиков воротника. Тряхнув красивой седой шевелюрой, читатель этот вытащил цветные заграничные ручки и пачку линованных карточек. Носовым платком он вытер пальцы, будто собирался заняться не чтением, а завтраком.

Сергей Сергеич Никольский чуть брезгливо листал замусоленные, пахнущие плесенью и мышиним пометом страницы. Доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории партии Академии общественных наук при ЦК КПСС, он прибыл сюда в командировку прочесть закрытую лекцию для партактива Гомельской области. Закрытым, как известно, считается то, что все знают, но о чем с трибуны можно говорить только вышестоящим. Уже один этот факт давал докладчику некую привилегию. Впрочем, он к этому привык. В уме же Никольский давно держал осмотреть книжный фонд частично сохранившейся домашней библиотеки генерал-фельдмаршала графа Паскевича. Просто так, для себя. Областная библиотека располагалась, между прочим, в бывшем графском дворце.

Привела ответственного гостя к Розе директриса библиотеки, которую сюда перебросили из отдела пропаганды обкома. Директриса была полная, но весьма маневренная - Никольский при своем относительно спортивном виде еле за ней поспевал. Она шепнула Розе, чтобы данному читателю (она подчеркнула слово "данному") давать все, что ни попросит. Перед гостем директриса извинилась, что привела его в зал для научных работников, а не для академиков и профессоров:

- Помещения, соответствующего вашему рангу, извините, нету. Вот когда построят новое здание...

Битых два часа вчера ушло у Никольского на оформление: он заполнил несколько бланков, затем специальную анкету - что и для чего он будет читать. Анкету сверили с отношением из академии, хатайствующим о допуске к данным книгам. Все это была чистейшая

туфта. Отношение Никольскому отпечатала его секретарша, подписал он вместо заместителя директора, своего приятеля, сам и поставил липовый регистрационный номер.

Книги Никольский собрался листать не для темы, а для просто себя. И директорисе было наплевать, кто что читает. Но таковы были правила, сложившиеся не вчера: задачей библиотек давно стало стеречь людей от чтения, чтобы они не прочитали чего-либо такого, чего им знать не положено, даже из глубокой истории. Никольского это нисколько не возмущало. Чтобы читать, надо понимать, зачем читать. Бездельники только портят книги. А что касается ограничений в чтении, то кто ищет, тот найдет. Не надо вопрос заострять. Он давно выработал принцип, который повторял про себя, а иногда и вслух:

- А мне все нравится!

И если его упрекали в конформизме, объяснял:

- Эка невидаль - всем возмущаться и все критиковать. Это же как мода. Мода ведь то, что все спешат делать, не так ли? А я оригинал! Нет правды на земле, но правды нет и выше. И потом, братцы, равнодушие - единственный способ убежать от инфаркта...

Никольский всегда верил в великую благодать того, что люди не читают старых книг. Если бы все в один прекрасный день уяснили, что то, о чем они думают, говорят, спорят - уже обдуманно, сказано и доказано, какая бы в обществе наступила апатия! А так - апатия только у избранных, у интеллектуалов. Забывчивость - вот спасательный круг человечества. Мы словно играем роли по давно написанным пьесам и бодро делаем вид, что открываем новое и идем вперед. Где уж всем! Всерьез ревизуют что-либо одиночки. Мы не из их числа.

Для самого Сергея Сергеича знания делились на две группы - для других и для себя. И те, что были для других - были торговлей и, между нами говоря, спекуляцией. Да, книги, которые он пишет фальшивы, и другими они быть не могут по определению. Но то, что для себя, есть убажнение остатков духа, который пока еще, к счастью, не полностью деградировал.

Книги, что теперь лежали перед историком Никольским под розовым абажуром, были старыми, а значит, настоящими. В отличие от современной лжи, которая просто липа, ложь далекого прошлого как

бы материализуется. Теряя контакт с жизнью, она перестает быть ложью, становится данностью и не раздражает.

Последней к этим книгам - Никольскому уже рассказали - прикасалась глубокая старуха, наследница графа. Книги тогда были свалены в подвал краеведческого музея, размещенного во флигеле графского дворца. Каждый день, кроме церковных праздников, старуха, стуча о паркет клюкой, приходила в музей и, купив входной билет, осматривала остатки своей мебели. На билеты уходила вся ее пенсия. Одета графиня была неряшливо, и, по слухам, почти ничего не ела несколько лет, только дышала и пила воду. А воздух и вода в Гомеле, хотя и не очень хорошие, но бесплатно.

Переместившись в библиотеку, графиня долго сидела, не шевелясь, положив руки на книги и закрыв глаза. Казалось, дремлет или щупает у книг пульс. Потом она медленно листала книги. Когда попадались рисунки, бормотала что-то себе под нос, смотрела на свет страницы. Она оживала, разговаривая с нарисованными людьми. А уходила - лицо опять мертвело.

Розе хотелось поговорить с московским интеллигентным человеком, и она еще вчера рассказала Никольскому подробности про неофициальную достопримечательность города. Не часто в областной библиотеке появлялись столичные гости такого масштаба. Роза зарумянилась, большие черные глаза ее заблестели и ожили. Шепот придавал разговору таинственность. Никольский с грустью признался Розе, что у него со старухой есть нечто общее: он, как и она, после многих лет чтения только по делу, теперь решил почитать для себя. Без практического выхода.

- Где же она, это роковая женщина? - спросил Никольский, пристально посмотрев на Розу.

- Книги музей передал нам, мы их - в спецхран, а допуск ей к книгам оформить было нельзя. Кто будет за нее ходатайствовать? Смешно!

- Смешно, - согласился Сергей Сергеич. - А ведь это ее собственные книги, не так ли?

Она печально кивнула, притворив ресницы. Потом подумала и прибавила:

- Директриса сказала, что книги народные.

- Ах, народные! - усмехнулся он. - Действительно, как это я сразу не сообразил?

Так у него с Розой возникло взаимопонимание. Это было еще до того, как они пошли смотреть книги. Роза повела его по железной винтовой лестнице в подвал, бывшее бомбоубежище. Свет был неяркий, но достаточный для того, чтобы видеть корешки. Книги стояли в беспорядке, все равно они почти никому не выдавались.

- Здесь сыро, - поежился он. - Вам не холодно?

- Я привыкла.

Они шли между железных полок, то и дело касаясь друг друга, и обоим это было приятно. Что-то в ней от пышечки, отметил он, не без удовольствия глядя на ее округлости.

- Ну, девятнадцатый век смотреть не будем, - сказал он, - неожиданностей вроде бы не может быть. А восемнадцатый - вот этих толстячков - можно поднять.

Стопы набрались большие.

- Тут есть мальчик, - сказала она. - Он вам все сейчас принесет.

Безо всякого смущения она поднималась над его головой по винтовой лестнице.

- Сейчас не надо. Я хочу только заказать, а читать начну завтра, если позволите.

Он едва улыбнулся. Подумал, не пригласить ли ее поужинать, но решил, что пока не надо.

- Завтра все для вас будет готово. Мы работаем с десяти до десяти. - Помедлив, она прибавила: - А я завтра с двух.

Пришел он часа в четыре. На лекции для партактива было несколько вежливых вопросов - ровно столько, сколько положено, чтобы докладчик остался доволен собой и залом. После обеда в отдельном зале обкомовской столовой с секретарем по пропаганде и заотделами Никольский велел шоферу ехать в гостиницу и час славно подремал.

Роза к его появлению аккуратно сложила поднятые из подвала книги. Она уже сбегала в центральный каталог и легко нашла книги самого С.С.Никольского, в том числе изданную солидной монографией его докторскую диссертацию "Роль коммунистической партии в создании избытка продуктов питания". Названия двух других его книг

тоже были фундаментальными: "Борьба коммунистической партии за чистоту ленинского наследия" и "Коммунисты в авангарде борьбы против мелкобуржуазной идеологии". Заказывать эту трилогию Роза не стала. Интересно, однако, какие полезные идеи он собирается найти по своей специальности в восемнадцатом веке? Ах да, он же будет читать их без практической цели.

- Я прочитала все книги, которые вы написали, - сказала она, выдавая ему книги. - Интересно...

Врала она вежливо - без восторга и без иронии.

- Не будем об этом, - поморщился он. - У каждого свой крест.

- Вы хотите сказать...

- Я ничего не хочу сказать, - сухо вато прервал он. - А вот ваши книги действительно занимательные.

Он поднял тяжелую стопу фолиантов. Роза подумала, не повесть ли ему, как под бомбежкой вывозили эти книги? Розе рассказывала мать, которая тоже здесь работала до смерти. Вон, на некоторых переплетах шрамы от осколков. Когда книги везли, на станциях половину растащили солдаты из встречных эшелонов на самокрутки. Слабые женщины не отстояли. А после того, как привезли книги с Урала обратно, половину оставшейся половины съели крысы здесь, в подвале. Стоит ли это вспоминать? Пусть гость спокойно читает остатки и полагает, что это полная графская библиотека.

Никольский между тем не торопился углубляться в восемнадцатый век. Он снял очки, подышал на них, стал медленно протирать голубоватые стекла. Без очков все приняло неопределенные формы. Пустой читальный зал застлало туманом. Вот в таком тумане он и живет. А в очках другая его жизнь, которую приходится соотносить с тем, что он видит. Слова и реальность все труднее увязывать между собой. Лучше не пытаться.

С юношеских лет Никольский почитал Библиотеку. Не эту, провинциальную, и даже не те, известные интеллигентному миру, а Библиотеку вообще. Большая часть его молодой жизни прошла в библиотеке. И он любил в ней сидеть, называл добровольной тюрьмой. Не обязательно читать, писать, рыться в каталогах. Просто сидеть, как старая графиня, смотреть на незнакомых людей, притулившихся по углам, поближе к настольным лампам, гадать, что привело их сюда. Тогда библиотека была для него особым замкнутым миром, храмом,

религией. Тогда он гордился, что он историк, что создает духовные ценности. Придумал даже сам себе целое философское обоснование: люди делятся на "материальщиков" и "духовников". Он, конечно, же из вторых.

Для потомков наши вещи не будут представлять особой значимости. И автомобиль, и ракета превратятся в прах. Сталь и бетон станут пылью от времени. Насколько надежна память компьютеров, пока не ясно. Но зыбкие строчки на бумаге, которую младенец способен изорвать в клочки, сохраняются долгие времена. В этом, пожалуй, есть и обидное. Большая часть людей создает сегодняшние вещи. Но лишь труд меньшей части остается в веках. Утешение только в том, что не будь ценностей материальных, не родились бы духовные. Ибо и те, кто сочиняют, тоже хотят есть. Вот только какие строчки духовные, а какие нет? Настроимся считать - все. Для потомков будет важно и черное, и белое.

Выбиваясь наверх, Никольский работал в разных библиотеках и архивах. Студентом задышался в подвалах, мерз в церквях, наскоро переоборудованных под хранилища документов. Видел, как чистят библиотеки, как уничтожают книги, как трудно становится узнать, что есть, прочесть, что было написано. Мог заниматься старой историей, но клюнул на удочку и пошел по идеологической части. Жалеть об этом глупо и, главное, бессмысленно.

В молодости его восхищало, что в библиотеке честные и лживые книги стоят рядом. В этом была особая гуманность - в праве лжеца лгать, в невозможности запретить ложь, в праве потомков самостоятельно, без суфлеров разбираться в истинах, улыбаться нашей наивности или, что гораздо реже, поражаться дальновидности. Нет, что ни говори, Библиотека - хранилище времени, сейф для мыслей. Сейф для мыслей... Это, пожалуй, неплохо было им когда-то сказано. Он, Никольский, любил слова. Они его и лишили ориентации: в словах утонула истина, которую он давно уже не искал. Истина только мешала, вставала поперек дела, успехов, жизненных благ. Он перестал читать. Он пробегал, проглядывал, скользил.

Сергей Сергеич надел очки. Туман исчез. Напротив, по другую сторону стола, за этой же лампой, сидел черноволосый мальчик лет двенадцати в синей полинявшей ковбойке. Челка на лбу смешно то-

порщилась - теленок лизнул. И уши торчали, и нос был приподнят кверху, подпирая очки. Весь мальчишка был нескладным теленком.

Кажется, он сидел тут и вчера. Сергей Сергеич решил вечером от скуки сходить в кино. Крутили фильм из эпохи его молодости. А мальчишка остался. Сидел и читал. Читал он толстую книжку в безликом библиотечном коричневом переплете с коленкоровыми углами. Читал быстро. По губам и щекам было видно, как он переживает то, о чем читает. Иногда поднимал глаза, несколько мгновений сидел не шевелясь, словно наступал антракт. И читал следующее действие. А почему, собственно, подросток в читальном зале для научных работников? В этом же здании, с другого угла, детская библиотека, куда Никольский сперва заглянул по ошибке.

Мальчик поднял голову. Никольскому пришлось снять со стопы верхний том и углубиться в него. Хватит растекаться мыслию. Мы умеем заставить себя собраться, умеем работать. Правда, в последние годы это становится все трудней. Возраст? Чепуха! Нет шестидесяти. Не болеем, не лысеем. Сергей Сергеич стал читать толстое жизнеописание высших придворных чинов Российской империи.

Шла вялая весна, темнело позднее. Окна читального зала вплотную упирались в стену учреждения, в окнах которого горели лампы. Сверху, в щель между домами, опустились густые сумерки.

- Я зажгу свет, если не возражаете, коллега, - галантно произнес Никольский.

Парнишка вздрогнул, оторвался от страницы, сообразил, что это обращаются к нему и, покраснев, кивнул. Сергей Сергеич пощелкал выключателем.

- Так не зажжете, - стесняясь, сказал мальчик. - Еще в прошлом году закоротили.

Умело, двумя руками он снял с лампы розовый стеклянный колпак. Под ним оказалась полногрудая бронзовая русалка с извивающимся хвостом, который постепенно превращался в подставку. Мальчик привычно взял русалку за талию одной рукой, а другой повернул лампу в патроне. Сергей Сергеич усмехнулся. Свет ударил в глаза. От лампы пахло горелым. Мальчик также аккуратно поставил колпак на место, и розовый круг очертил книги. Лишь сквозь трещину свет слепил глаза.

Никольский сходил к Розе и взял другую пачку книг. Библиотекарша, между тем, приготовила для него две карточки с надписями "Прочитано" и "Осталось".

- Вы великолепны сегодня, - вскользь бросил он ей.

Она не была избалована светскими комплиментами и смущенно улыбнулась, довольная, что он заметил. Она действительно приложила к этому немало усилий, и они не пропали даром. Правда, директриса обратила на Розу внимание еще раньше. Она сказала, что на Розином месте одевалась бы на работу строже: все-таки мы областное учреждение, а не театр. Роза промолчала. На ней ничего особенного не было, только юбка узкая, и, конечно, не длинная, что давало возможность оценить ее ноги, как определенное достижение природы. Ну, два часа в очереди в парикмахерской, чтобы уложить волосы. Ну, еще помада на губах чуть ярче, чем обычно. Без лишней скромности Сергей Сергеич понял, что усилия, предприняты Розой для него. Раз так, это избавляет его от промежуточных трудностей. Хотя... он еще абсолютно ничего не надумал.

Никольский поработал пару часов и размагнитился. Цвет абажура стал его раздражать. Он поежился от сырости, то ли действительной, то ли кажущейся. Надо бы пойти поужинать. Где тут у них самый лучший ресторан, чтобы была глупая музыка, оглушающая и безвкусная, танцы и прочее.

Мальчик читал, не отрываясь.

Сергей Сергеич прослышал, что в местной драме поставили что-то солененькое. Не отправиться ли туда? Говорят, труппа здесь молодая, только что из столичного вуза. Значит, есть и симпатичные актрисочки. Или, может, согласиться на приглашение доцента из пединститута, который мечтает очутиться у меня в докторантуре? Обещано изысканное местное общество, и мне уготована роль кумира на три часа.

У мальчика брови сдвинулись. Они сдвигаются, когда доходит до трудного места. Длинные ресницы растерянно то моргают, то успокаиваются: понял, пошел дальше. Ничего, кроме того, что излагается на книжных страницах, его не занимает. А я не двигаюсь. Сколько осталось? Полстопы тут, да две горы на столе у Розы. А Роза тоже скучает. Когда женщине скучно, виноват кто? Само собой, мужчина.

РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙ

Сергей Сергеич помучился еще, листая страницы, которые его не смогли увлечь. Решил, что будет читать завтра, а на сегодня хватит. Не гнить же ему, в конце концов, как старухе, графской наследнице, за чтением. И в голове должна быть форточка. Он сгреб со стола исписанные клочки бумаги, обнял стопу книг и пошел к стойке. Роза с готовностью нагнулась и протянула руки помочь ему. Он невольно заглянул ей за вырез кофточки.

- Устали? - чуть порозовев, спросила она.

- Просто есть еще дела...

Маникюр на ее ногтях был свежий, тщательно наведенный. Духи неплохие, не грубые. Он взял ее руку, поцеловал. Она с удивлением подчинилась, но обернулась, не видел ли кто. Он двинулся к выходу, потом вернулся и наклонился к ее уху, заговорщически подмигнув:

- Простите. Что за мальчик сидит напротив меня?

- Помогает носить книги. Он вам мешает? Я его прогоню.

- Нет-нет, не мешает. Напротив, заражает своим энтузиазмом. Просто я хотел полюбопытствовать, чего от тут штудирует?

- Он читает все подряд, - объяснила она. - Ну, может, больше географическое и историческое. И то, что вы сейчас читаете, все уже прочитал. Только директрисе не говорите: это же спецхран. Он сносит книги в хранилище и там выбирает.

- И часто он здесь?

- Всегда.

- Всегда?

- После школы... И сидит до закрытия.

Роза смотрела на Сергея Сергеича, чуть улыбаясь, готовая ответить на любые его вопросы с максимальной полнотой. Но он больше ничего не спросил. Выходя, он оглянулся: мальчик сидел под розовым абажуром, подперев щеку кулаком.

В театр Никольский не поленился заглянуть. Пьеса была из колхозной жизни. В первом акте смело разоблачали пьяницу-председателя. О том, как председатель будет во втором акте исправляться, Сергей Сергеич, примерно, догадывался. Молодые столичные актрисы, про которых ему сказали в обкоме, по-видимому, успели состариться на периферии. Гость еле досидел до антракта и даже подумал, не улететь ли сейчас же в Москву. Но там его никто не ждал.

Семьи у Никольского в данный момент вроде бы не было. Третья его жена ушла от него полгода назад, и нельзя сказать, чтобы его это огорчило. Дети от первых двух браков выросли, и общение с ними носило вежливый, но дистанционный характер. В Гомеле он специально заказал билет на послезавтра, чтобы отдалить себя от московской суеты. Так тому и быть. Он прогулялся до набережной Сожи, постояв молча, поглядел на ледоход. Но с реки дул сильный, мокрый ветер. Безопаснее двинуться спать, чтобы не просквозило.

С утра его потянуло в библиотеку. Входя в читальный зал, он даже подумал про себя не без гордости, что он, Никольский, труженик. Умеет и любит работать от зари до зари, как в молодости. На деле, он уже давно забыл, как пишут. Книги, которые издательства заказывали ему, известному партийному историку, он делил по главам между своими аспирантами, а те без смущения заимствовали материалы не для себя у других авторов. Это, кстати, гарантировало правильность изложенных мыслей. Фолианты восемнадцатого века терпеливо ждали своего читателя, но в библиотеку Никольского потянуло не к фолиантам, а к Розе.

Она была за стойкой с утра и обрадовалась ему, - он понял, обрадовалась. Он поговорил с ней немного, поделившись впечатлениями от вчерашнего спектакля. Она посочувствовала, он рассказал к случаю анекдот, взял книги и ушел к розовой лампе с отбитым краем.

Книги были интересные, манера изложения непривычная для него, мыслящего готовыми блоками. Он зачитался. Жизнь, полная прозрачных интриг. Гравюры с умеренной вольностью в изображении игривых моментов. Монументальные физиономии сильных мира того. Неловкие объяснения политических авантюр через постельные подробности. Сергей Сергеич попытался провести параллели между царским двором и нынешними администрациями, при которых он делал карьеру. Боже мой, тогда был детский сад! Лучше не углубляться.

Минутная стрелка старинных напольных часов, что стояли у стены, между огромными портретами Маркса и Энгельса, сделала несколько оборотов, когда Никольский, оторвал взгляд от страниц. Он едва не рассмеялся. Мальчик в синей ковбойке сидел перед ним. Книга заслоняла половину его лица. Когда он появился и бесшумно занял свое место, Сергей Сергеич не заметил.

РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙ

- Молодой человек, - шепотом спросил Никольский. - Извините меня за любопытство. Что вы сейчас читаете, если, разумеется, не секрет?

Мальчик не сразу понял, о чем спрашивают, а поняв, протянул том. Это была книга конца прошлого века о походах Суворова с превосходными иллюстрациями. Никольскому она попадалась.

- Содержательная штука, - сказал он. - Для чего ты ее читаешь?

Мальчик не понял и пожал плечами.

- Ну, тему в школе проходите? Задано?

- Не-е...

- Зачем же?

- Не знаю.

- Может, просто интересно?

- Да, интересно.

- Что именно?

- А всё.

- Вообще?

Никольский почесал в недоумении кончик носа и произнес мальчику стихи, которые обычно читал женщинам:

Загадок вечности не разумеем -

Ни ты, ни я.

Прочесть писем неясных не умеем -

Ни ты, ни я.

Мы спорим перед некою завесой.

Но час пробьет,

Падет завеса, и не уцелеем -

Ни ты, ни я.

- Это вы написали? - спросил мальчик.

- Не совсем. Это Омар Хайям. Был такой восточный поэт... Но скажи мне, ради Бога, зачем все-таки ты читаешь?

- Вы верите в Бога? - глаза у мальчика сощурились и заблестели.

- Ну, я сказал "ради Бога" условно, что ли...

- А, условно...

Блеск в глазах погас. Чего хочет от него этот солидный человек, похожий на телевизионного комментатора с экрана.

- Так зачем же? - настаивал Сергей Сергевич.

- Просто я решил все книжки прочесть, вот...

- Все?! Я не ослышался?

Парнишка кивнул и стал читать дальше. Никольский тоже сделал вид, что читает, но мальчик сместил его мысли в сторону. Вы только подумайте: все книжки! Так ему и дадут прочесть все. Даже мне все не дают. А ему надо, видите ли, все. Наследный принц! Хочет обучиться сразу шестидесяти четырем искусствам. Как он научится приручать слонов? В теории? А складывать стихи - в этой провинциальной дыре? Сейчас нащупаем в нем слабую струну.

- А почему ты не играешь с ребятами? Ну, в хоккей, что ли...

- Неохота... Чо я там не видал?

Никольский не нашелся, как возразить и рассердился. Сопливый Нестор двадцатого века. Какому-то несмышленишу все интересно, а мне, деятелю великой истории, на все плевать? Мир идет в тар-тарары, а мальчик сидит с книгой. Все уничтожено, разрушено, сведено под корень до трын-травы. Целые библиотеки сожжены. Лучшие умы отравлены. Остатки догнивают, и само существование России под сомнением. Скоро от отечественной цивилизации ничего не останется. А мальчик в этой дыре читает.

Сергею Сергеичу вдруг пришло в голову открытие, которым нельзя ни с кем поделиться. Может, великая историческая миссия нас, коммунистов, в том и состоит, что мы превращаем культуру в макулатуру, произведения в удобрения, блага цивилизации - в дерьмо? Ну, а потом? Вырастут на этой почве новые культурные растения - или один бурьян? Может, и навоз заражен? Но ведь мальчик-то читает все подряд. Значит, в голове его что-то сохранится для потомков. Если, конечно, он не собьется с пути. Но он обязательно собьется. Обязательно! Деться некуда. Тупик.

Прочитанные книги Никольский понес к стойке, чтобы взять последнюю порцию.

- Хочу с вами попрощаться, - шепотом сказала Роза. - Я работаю до двух, а вы завтра уезжаете.

- Хм... Что если нам пообедать вместе?

РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙ

Сказал небрежно, как бы невзначай, чтобы самому не обидеться, если она откажется.

- Сейчас или..?

Тут он взял быка за рога:

- Немедленно!

- Тогда выйдем из библиотеки отдельно, ладно? Ждите меня возле магазина "Дары природы", это рядом.

- Вы - прелесть, я сразу догадался, - сказал он.

- А вы - бесчестный соблазнитель. Сдавайте книги, я вам поставлю штамп на выход.

В витрине магазина "Дары природы", который он углядел сразу, стояло облезлое чучело оленя с хорошо сохранившимися рогами. Над чучелом висел яркий плакат: могучий профиль Ленина с алым бантом на груди. Текст гласил: "Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи". Сергей Сергеич прижался к витрине, чтобы его не толкали прохожие и смотрел в сторону библиотеки. Он поймал себя на том, что волнуется, как молодой. Даже подумал: а вдруг она передумает? Но она тут же появилась, торопливо стуча каблучками по неровному асфальту.

- Заставила вас ждать? Пришлось убрать книги...

- Мадам, где в этом городе можно по-человечески пожрать?

- Нигде, поверьте! Пригласила бы вас домой, но у меня коммуналка.

- Тогда пошли ко мне в гостиницу. Уж что-нибудь в ресторане "Интуриста" дадут, а?

Он вынул из кармана пятерку, распорядительным жестом остановил первую попавшуюся "Волгу", открыл дверцу и протянул деньги водителю:

- Дружище, подбрось нас до отеля, здесь чуток.

- Вы с ума сошли, так швыряться деньгами, - прошептала она ему на ухо, когда они уселись на заднее сиденье.

Он приставил палец к ее губам. От нее пахло хорошей пудрой, он вдохнул этот запах глубоко, как наркоман, готовящийся перейти в другое измерение. Даже зажмурил глаза и мурлыкнул.

В ресторане было битком. Сергей Сергеич узнал у гардеробщика, где кабинет директора, и, чуть приобняв Розу за талию, попросил ее минуточку обождать. У директора были посетители. Пробравшись сквозь них, Никольский обогнул стол и тихо сказал на ухо директору,

что он из ЦК КПСС. Это произвело некоторое впечатление. Тогда Сергей Сергеич попросил в виде исключения подать ему обед на две персоны в его обкомовский люкс номер триста один.

- Пришлите официанта посообразительней, - попросил Никольский.
- Мы с ним найдем общий язык.

Он вернулся к Розе. Она красиво сидела в кресле, положив ногу на ногу.

- Пошли?
- Пошли, - немедленно согласилась она. - А куда?
- Ко мне. Пообедаем в номере.
- А это прилично для девушки из хорошей семьи?
- Вполне.

На третьем этаже он отпер дверь и элегантно жестом пригласил Розу войти.

- Батюшки, какой номер! - воскликнула она, обегая обкомовский люкс. - Сколько же здесь комнат? Гостиная, кабинет, спальня. А эту дверь можно открыть? Ах, ванная! И все для вас одного?

Стоя в дверях, он великодушно улыбался.

- Наши враги называют нас номенклатурой, - сказал он. - Мы себя - тоже... Глупо избегать благ, которые положены, не так ли? А вот и официант.

Они кратко обсудили, чего нет. Даму спрашивать было бессмысленно. Сергей Сергеич заказал, что есть.

- И конечно, бутылочку "Столичной" с морозцем, - он вынул две четвертных. - Сдачи не надо.

Обедали они с Розой, сидя на диване рядом перед маленьким журнальным столиком. Никольский специально распорядился поставить поднос с шашлыками сюда, чтобы сесть рядом.

- Выпей с нами, - демократично предложил он официанту.

Третьей рюмки не было, и официант, не упрямясь, налил себе четверть стакана.

- Мы с женой первый раз в вашем городе, - продолжал Никольский конструировать ситуацию, чтобы не затягивать дела. - Город, я бы сказал, хороший.

- Жить можно, - послушно согласился официант.

- Ну, за ваш город и за мир во всем мире! - Сергей Сергеич смотрел на Розу. - Давайте - до дна!

Она выпила легко, безо всякого ломания, и ему это понравилось. Официант пожелал приятного аппетита и ушел. Они выпили еще по рюмке, не закусывая. И тоже легко. Никольский встал и запер дверь.

- А вы большой умелец, - погрозила она ему пальцем и засмеялась.

- Если честно тебе признаться, Роза, я просто оболтус, - сказал он по-домашнему. - Прав мой приятель биолог Кузин, который сам себе сочинил эпитафию. Хочешь, прочитаю?

Прохожий! Здесь покоюсь я.
Ты слышал про такого?
Я дар земного бытия
Растратил бестолково.

Я был, к несчастью своему,
Обласкан муз любовью
И даже угодил в тюрьму
За склонность к остроловию.

Курил табак, любил собак,
Они меня - тем паче.
Прохожий! Ты живи не так,
А как-нибудь иначе.

- Иначе - как? - задумчиво спросила она, когда они проглотили еще по рюмке и начали есть. - Если б кто объяснил...

- Иначе? - он вспомнил, что хотел рассказать ей давеча, в библиотеке, но забыл. - Старуха-графиня, о которой ты мне рассказывала, жила иначе. Кстати, я ее нашел.

- Нашли?

- Сам бы не смог. На лекции ко мне полковник из органов с каким-то вопросом подошел. И я попросил его эту женщину разыскать. К сожалению, нашли не ее, а коммуналку, где она жила. Я туда съездил. Соседи похоронили старуху год назад. В ее комнате оказались старинные бумаги, письма, книги, фотографии и другое, как сказали соседи, разное барахло. Несколько сундуков, сто семьдесят шесть килограммов.

- Даже вес знаете?

- Соседи взвесили на пункте приема макулатуры. А еще, говорят, портретов маслом много было, свернутых в трубки, без подрамников. В бумажную макулатуру их не взяли, так они в помойку побросали. Опять смешно, да?..

- Еще как! - согласилась Роза. - А могила?

- Ты просто читаешь мои мысли. Я поехал на кладбище. Могила графини провалилась, крест упал. Дал червонец могильщику, и он вкопал крест.

Сергей Сергееч налил себе и ей еще водки, сам выпил и стал молча жевать. Роза тоже молчала, вдруг смутившись. Сказать ему, что она ходила к старухе? Та ей давала кое-что почитать у себя дома. И снова прятала. А когда Роза пришла в очередной раз - графиню уже похоронили, а комнату заселили очередниками. Розе и в голову не пришло, что этот ответственный партийный человек потащится искать графиню.

- Судьба-копейка, - сказал он и еще выпил.

- Прохожий! Ты живи не так, а как-нибудь иначе, - повторила она задумчиво. - Хотела бы я жить иначе. Например, как старая графиня.

- А может, не надо?

- Может... Но получается, что я все время надеюсь на "не так" и чего-то жду. А когда есть возможность сделать "не так", не делаю.

- Никогда?

Роза захохотала немного искусственно.

- Почти... И опять жду.

- Вообще или конкретно? - он испытующе смотрел ей в глаза.

От ответа зависил его следующий шаг.

- Сейчас - конкретно.

Вдруг став серьезной, она резко выплеснула остаток водки на пол, встала и прошла по комнате, чуть пошатываясь.

- Чего же ты ждешь? - осторожно спросил он.

Она вплотную подошла к нему, сидящему на диване с ножом и вилкой, резким движением сняла с него очки и разглядывала его сверху вниз.

РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙ

- Странный у вас цвет глаз, - сказала она, закончив обследование. - Вернее, странно, что у ваших глаз нет цвета... Скорей, пожалуйста!

- Что - скорей? - не понял он.

- Оболтус! Скорей поцелуйте, пока я не передумала.

Никольский привык выполнять указания сверху и неуклюже поднялся с дивана.

Светлая щель между шторами на окне потемнела, когда Сергей Сергеич поднял голову с подушки. Роза спала, свернувшись калачиком рядом. Нормальная женщина, благодарно подумал он: полная отдача души и тела, никаких претензий. Столько раз слышал о преданности еврейских жен и никогда не испытал на себе. Сам русак из русаков, и все мои жены были чистыми русачками. Значит, муж у нее уехал в Америку. Она отказалась. Когда надумала, они уже развелись.

А что если... Внезапно он положил ей руку на талию, притянул к себе и, чтобы разбудить, поцеловал. Она распрямилась и прижалась к нему, улыбаясь счастливой и беспечной улыбкой, как девочка, которую осчастливили поцелуем первый раз.

- Послушай, - сказал он. - Что если мы поженимся?

- Ты с ума сошел! - она тоже перешла на ты. - Ни за что!

- Нет, я серьезно. Серьезно! Женемся и укатываем в Израиль, в Америку, в Австралию, к черту, к дьяволу, лишь бы туда, где нет истории КПСС. Даже если ты еще любишь мужа, то вывези меня с собой к нему.

- Я его давно не люблю, но что ты там будешь делать, оболтус несчастный?

- Что угодно, только не то, что здесь. Например, стричь газоны. Буду косить траву! - громко выговорил он.

- Траву? - переспросила она, проснувшись.

- Какую траву? - не понял он.

- Вы только что сказали "буду косить траву"...

Весь предыдущий разговор состоялся у него в уме, и только "буду косить траву" вырвалось вслух.

- Я мечтал, - сказал он. - Чепуха...

- Который же теперь час? - она вдруг испугалась.

- Половина десятого.

- Боже, в десять, к закрытию, я должна забежать в библиотеку.

- Зачем?
- Нужно. Отвернитесь, я оденусь.
- Не отвернусь. Я хочу посмотреть.

Собрав свои одежды, раскиданные по полу, она убежала в ванную. Он встал, тоже оделся. На диване лежала ее сумочка. Он оглянулся на дверь ванной, вынул из кармана конверт и, опустив его в сумочку, защелкнул ее. Потом оделся и сел в кресло.

Она появилась в двери ванной, продолжая взбивать руками волосы. Деловито спросила:

- Посмотрите на меня - все в порядке? А то я еще не в своем уме.
- Ты в абсолютном порядке. Пилотаж высшего класса.
- Правда? Спасибо. А вы как?
- Он достиг высшего счастья на земле - отсутствия всяких желаний. Это цитата, римский историк Тацит.
- А вы?

Желаний у него не было. Но и особого счастья он тоже не ощущал.

- Прощайте, профессор.
- Я тебя провожу.
- Никогда! Здесь близко, десять минут. Я сама себя провожу.

Она тихо притворила за собой дверь. Он постоял минуту, колеблясь, догнать ее или остаться, и махнул рукой. В пиджаке, при галстукe, в ботинках завалился в кровать и мертвецки провалился в сон.

Разбудил его вежливый стук в дверь. Никольский долго не мог понять, что к чему, с трудом продрал глаза. За окном рассвело. Он встал, покачиваясь, поглядел на себя в зеркало, пятерней причесал шевелюру, погасил в коридоре свет, который горел всю ночь, и отпер дверь.

- Доброе утро, Сергей Сергеевич!

Это был инструктор из обкома с поручением проводить лектора ЦК в аэропорт.

- Я вас не разбудил? - бодро тараторил он. - Как спалось на нашей гомельской земле?
- Отлично, спасибо.

РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙ

- Не буду вам мешать. Собирайтесь, жду внизу, в машине. Возьмите себе на заметочку, что времечко нас поджигает. Может, мне в обком позвонить, чтоб задержали рейс до вашего прибытия?

- На надо, успеем.

Придется быстро спуститься. Если удастся, выпить кофе в аэропорту, а побриться и умыться в самолете. Он поднял с ковра бутылку водки. Хотя бы глоток, чтоб не трещала голова. На дне не осталось ни капли. Сергей Сергеич стал бросать пожитки в открытый чемодан.

В черную "Волгу" с двумя нулями он сел молча. Быстро покатали в аэропорт. Инструктор оказался говорливым, видно, натренировался сопровождать начальство.

- В обкоме очень высокого мнения о вашей лекции. Много вы сказали такого, о чем мы только догадывались. Ну, и реальные перспективы.

Никольский кивнул, рассеянно глядя в окно.

- Работать в новых условиях становится, конечно, трудней, - сказал инструктор.

- Трудней, - кивнул Никольский.

- Но зато интересней, - сказал инструктор.

- Интересней, - подтвердил Никольский.

Инструктор поднес чемодан Сергея Сергеича к стойке для регистрации пассажиров. Рейс на Москву отправлялся во время. Они сердечно пожали друг другу руки.

- Приезжайте к нам еще!

Зарегистрировав билет, Никольский хотел войти в дверь, за которой прозванивали и просвечивали багаж и тело.

- Вам без проверки, - сказала дежурная. - Во-он там, через комнату для депутатов Верховного Совета.

Это была еще одна, совсем незначительная привилегия. Тут Сергея Сергеича кто-то потянул за рукав.

- Здрав-сте! Вам просили передать...

Перед ним стоял мальчик с чубом, зализанным теленком. Никольский сразу его узнал. Мальчик протягивал сверток - что-то, завернутое в газету. Сергей Сергеич пожал плечами.

- От кого?

- От мамы.

- А кто мама?

- В библиотеке работает.

- Роза?

Только теперь до него дошло.

- Что это?

- Мама сказала, после поглядите. Ну, я пошел...

Никольский усмехнулся этой провинциальной сентиментальности: подарок на память.

- Ладно. Спасибо. Привет маме. Желаю тебе прочитать все книги на свете, как ты хочешь.

- Все книги не хочу. До свиданья.

Мальчик-то на нее похож, подумал он. Сразу мог бы догадаться.

Сверток оказался тяжелый. В самолете, едва усевшись в кресло, Сергей Сергеич развязал веревочку и развернул газетную обертку. У него на коленях оказались книги - три книги, автором которых считался он сам, С.С. Никольский. На обложках были наклейки с шифрами и штампы Гомельской областной библиотеки.

- Ненормальная баба, - пробормотал он почти вслух, ни к кому не обращаясь. - Зачем это мне? Нет, она точно ненормальная...

Тут на колени ему выпал из верхней книги конверт с отпечатанным в углу текстом: "Гомельский обком КПСС". Конверт был разорван, и Сергей Сергеич его узнал. Никольский тут же вытащил из него две пятидесятирублевки, которые вчера вечером сунул в этом конверте Розе в сумочку.

- Дура! Идиотка! Мудачка! Черт дернул связаться с такой кретинкой. Я же хотел, как лучше. Как лучше, хотел...

На внутренней стороне книжной обложки был приклеен читательский формуляр. Своих книг Никольский в библиотеке никогда не брал и теперь рассматривал этот формуляр, неожиданно ему попавшийся. Бланк был чист. Как же так? Ведь готовится уже второе издание...

Он заглянул в две другие книги в пачке. Формуляры были выписаны аккуратно: "Номер читательского билета", "Дата". А дальше пустота. Никто за все эти годы не востребовал его книг. Даже не раскрыл их - вон у всех края присохшие, как у новых, ни единой пометки, загнутой страницы - ничего!

Резко поднявшись, он стал пробираться по проходу между усаживающимися пассажирами и сумками. По дороге он положил деньги

в карман пиджака, а пустой конверт сунул в книгу. Возле туалета он в крайнем раздражении остановился, готовый швырнуть все три книги в мусорный ящик. Ящика нигде не было.

- Девушка, - обратился он к стюардессе средних лет. - Где же, собственно, ящик для мусора?

Она посмотрела на него с удивлением.

- Ящиков нет, запрещены.

- То есть?

- Давно уже. Профилактика террора. Давайте ваш мусор, я сама отнесу.

- Понятно, - пробормотал он менее требовательно. - Впрочем, я просто так, к слову, спросил.

Он сел на свое место, повертел в руках книги и принялся остервенело заталкивать их в портфель, который и без того был изрядно набит.

ДЕШЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

Разбудил Машу напряженный разговор за дверью.

- Я устала, устала! Тебе плевать: отвалил в парк и обо всем забыл. А у меня дети...

Это мама.

- Каждый раз одно и то же. Завтра зарплата, завтра! С луны ты что ль свалилась?

Это отец.

- Завтра? А дети? Им надо жрать сегодня!

- Делала бы аборты, как все, не стонала бы теперь.

- Сам же сказал: ладно, рожай.

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

- Мало ли что! У тебя головы нету? С одним-то вертелись на сковородке. Я что - из тумбочки бабки достаю? На кой всякое дерьмо покупаешь?

- Тарелки - не дерьмо, дефицит, все брали.

- Ладно, тарелки... А юбка зеленая откуда?

- Юбку мне Нинка отдала, ношеную. От тебя такого подарка не дождешься. Почему одна я должна биться, как рыба об лед? Вон, у Фаины мужик дак мужик...

Это опять мама. Нинка - одна соседка, проводница поезда "Москва-Берлин", Фаина - другая, у нее муж в "Утильсырье" талоны на "Графа Монте-Кристо" за макулатуру выдает.

- У Фаины мужик абсолютно ежедневно в дом чегой-то приносит. Е-же-днев-но.

- Он же ворюга!

- А на деньгах, между прочим, этого не написано.

- Скоро сядет!

- Пока сядет, он знаешь сколько для семьи нагребет? А ты?

- Фаина и сама будь здоров в колбасном отделе имеет, не тебе чета. Ты шоколадки за справки получаешь. Брала бы по трешнику, раз ты у нас такой оперативный работник. Где то, что за прописку дают?

- Так ведь это не каждый день. И потом, начальник паспортного стола почти все себе забирает, знаешь ведь. Зато я талоны лишние на заказы приношу. Есть-то ты каждый день просишь!

Маша хотела выбежать и сказать, что ей ничего не надо. Только не ссорьтесь. Ведь это она, Маша, виновата, что родилась. Аборт - такая штука: Маша уже была, а потом раз - и нету. Мама ее пожалела. Но лучше промолчать. Ей ответят: "Не лезы! Не твое дело". Хотя почему не ее? Ведь это она да Санька - дети, из-за которых...

Каждый день, едва отец к ночи вернется, мать заводит разговор про деньги. Маша от крика просыпается. Раньше она думала, что деньги - это монеты, которые ей давали на мороженое. Однажды, в разгар ссоры, вынула из своей коробочки:

- Сейчас я вам дам денег.

Отец спросил:

- А бумажек у тебя нема?

Побежала в свой угол за диваном и принесла мелко нарезанные листочки из тетради, которыми она играла в магазин. На листках было написано: "100 рублей", "1000 рублей".

- Во-во! - обрадовался отец. - И подари их матери. Пускай купит все, что ей во сне приснится.

Теперь-то Маша прекрасно знает, что такое деньги. Деньги - это то, что нигде не продают, а за что-нибудь дают. Но не всем. Кому больше, кому меньше. Некоторые умные люди знают, где они спрятаны, и сами берут, без спроса. Отец твердит, что ему лично деньги ни к чему, он и без них может упереться рогом и все достать из-под земли. Но не желает, устал. Устал и хочет хоть немного пожить честно, не думая о деньгах с утра до ночи. Мама же говорит, мол, честность и даром теперь никому не нужна. Поэтому папа все же деньги приносит. Он отдает их матери. Мама берет - улыбается и целует отца. А не принесет - не целует.

Сегодня воскресенье. Отец уходит в смену то днем, то вечером, то ночью и даже в воскресенье. Дома он всегда спит или просто лежит на диване, не шевелится и смотрит в потолок. Иногда говорит: "Вон там опять паутина. Чем же ты целый день занимаешься?" А мама паспортисткой в домоуправлении работает - то полдня утром, то полдня вечером. Они и видятся-то редко, а то бы еще больше ругались.

- Пап, давай телевизор посмотрим?

- За день я такого телевизора насмотрелся, что сыт по горло.

Маша берет книжку, садится к нему на живот и смотрит картинки. Отец дремлет, Маша движется: то вверх, то вниз. Сейчас он, значит, проснулся, и, собираясь уходить, примирительно говорит матери:

- Да брось нервы себе трепать! Будто впервой... Выкрутишься!

- Избаловался на всем готовеньком, - ведет свою линию мать. - Хватит! Бери себе половину детей и поступай, как хочешь.

Одна половина детей Санька, другая Маша. Конечно, отец возьмет Машу. Санька - разгильдяй, папа с ним все время на взводе. Мама, хоть Санька уже почти с нее ростом, стеганет его отцовским ремнем, если что. Он поревет и бурчит: "Все равно не буду!" Но слушается, за милу душу.

- Пошли, Машка! - решительно говорит отец. - Ты одета?

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

- Бант завяжешь?

- Может, тебе еще брильянты в уши? Из-за банта я к напарнику опоздаю.

До Савеловского вокзала они приехали в набитом до отказа автобусе, а к парку долго перли пешком через сквер и через стройку. Маша еле попевала, а когда дошли, обрадовалась: будем кататься! Она сразу узнала папину "Волгу" Серая, крыша красная и номер легкий: 23-43 ММТ. На крыле закрашенный след от длинной вмятины. Это когда папа в самосвал врезался. Но абсолютно все говорили, что самосвал сам виноват.

Напарник дядя Тихон стоял небритый и рукавом от старой рубашки ладони вытирал. Тихон увидел отца с Машей, сдвинул назад фуражку, прищурился:

- Ха! Опять разводишься?

- На день взял.

- Тоже дело. Что разводишь, что не разводишь - один компот. Щас отбивала к тебе с ней прицепится...

- Уговорю! Куда ж мне ее девать? В комиссионку пока детей не берут. Ну, как сцепление?

- Ведет сцепление! Ваша милость с бабой цапались, а я тут его подтягивал на яме полчаса. Надо новый диск, на складе говорят, будет после первого. Ха! Какого месяца первое - вот вопрос.

- Диск давно бьет.

- Бьет, и все по карману!

- Машка, садись! - скомандовал отец.

Ловко открыв дверцу, она ухватилась за руль, поерзала по сиденью и поместилась напротив счетчика, положив на коленки руки. Силась прочитать цифры, отбитые на счетчике, сморщила нос, на котором красовались три огромные веснушки и целый хоровод мелких. Счетчик показывал одни бублики.

- Ха! Между прочим, с утра у меня опять инструктаж был, - вспомнил Тихон. - Тот же юный пионер в кожаном пинжачке, при красном галстуке с искрой, колесики со скрипом. Парторгу велел меня разыскать, а потом смыться, чтобы мы, значит, наедине остались.

- Взял бы да и схилял. На кой тебе время тратить?

- Зачем же начальство нервировать? И потом, он думает, он меня вербует, а может, эвон-то, я его... Пусть говорит, мы слушаем

себе не во вред. Ботиночки-то скрипели, а сам расспрашивал, какие слухи насчет высшего руководства и лично товарища Черненко в природе клиентов фигурируют. Ха! Кто их знает, какие слухи? Всякие, верно? Велел внимательно слушать и запоминать. Ну, сообщать, конешное дело, лично ему. Вот, телефончик продиктовал дополнительный, если чего важное, а он в отсутствии. Обещал содействие в случае чего.

- Чего именно?

- Он намекнул, но не уточнил. При оказии в разговорах с пассажирами велел разъяснять, что денежной реформы, дескать, в текущий момент вышестоящие органы не планируют. Это враждебные слухи. Мол, правительство целиком в заботе о трудящихся, понял? А то, говорит, неуместная паника отражется на производительности труда. Надо народ успокоить, чтоб не хмурился. Ха!

- Пускай сами успокаивают.

- Пуцай-то пуцай. Но он опять же намекал, дескать, выборочно ставят в машины подслушки. Я, конечно, удивления не изображал, но для порядка спрашиваю: "А в моей-то тачке установлено?" - "Это, - говорит, - мне не известно, не я этим занимаюсь. Тебе лично, мы, конечно, доверяем, ты наш человек. Только, мол, на случай, если иностранцев везешь. Расширение, мол, с иностранцами производится..."

- Ну и хрен с ними! Наше дело баранка да счетчик.

- Ха! Мое дело тебе передать.

Отец плюхнулся за руль, больно задев Машу локтем. Мотор долго не хотел заводиться, чихал, и, наконец, взревел. Отец высунулся по пояс из окошка.

- Ведет, сволочь!

- Ведет не ведет, план отдай.

Нахлобучив фуражку, отец отъехал, вдруг притормозил, дал задний ход, опять поравнялся с Тихоном.

- У тебя в загашнике не завалялось? Начинаю без копыя.

- Ха! Я тебе что - Госбанк? Сам учишь печатать.

- Завтра посчитаемся.

- Раздеваешь меня! - Тихон порылся в карманах, достал две скомканные двадцатипятирублевки. - С тебя процент на портвейн! И за это по дороге заедь к Клавке, пять банок мне на ночь возьми.

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

- Какие пять банок, пап? - спросила Маша, когда Тихон уплыл назад.

- Не твое дело!

Вокруг кишел автомобильный муравейник. Со всех сторон ползли, пятились машины. Вот-вот столкнутся, но под боком у отца в этой неразберихе не страшно.

- Что за клиент без счетчика? - строго спросил из окошка отбивала, механически пробив время выезда, но придержав путевку.

- Дочка, Андреич, - объяснил отец. - Сейчас по дороге домой завезу.

- Учти, что неположено.

- Учту, учту...

Отбивала подышал на штамп, прижал его к путевке и надавил кнопку. Ворота загромыхали и раздвинулись. Отец вырулил на улицу.

- Как же домой, пап? Мама ведь велела, чтоб мы целый день не появлялись...

- Помалкивай, сам знаю!

День стоял не солнечный, но и не пасмурный. Ветер вяло закручивал пыль в воронки, медленно гнал вдоль тротуаров мусор вперемежку с листьями. Грузовики застилали улицы сизым дымом. Дым растекался и таял, оставляя запах горелой каши. Проехали потихоньку пустырь и несколько кварталов. Отец лениво глазел по сторонам, изредка чертыхался. Сцепление, наверно, вело не туда. Возле гостиницы на тротуаре стоял чемодан с привязанной к нему авоськой. Рядом нервно бегал мужчина в сером плаще. В одной руке он держал коробку, другой размахивал, пытаясь остановить какой-нибудь транспорт. Отец притормозил, перегнулся, навалившись на Машу, к окошку.

- Куда?

- На Курский. Если можно - поскорей.

- Всем надо скорей. Но если будет пойда, можно.

- Пойда? Что-то я не слыхал...

- Это по-восточному, как бы сказать, смазка.

- Ах, смазка! Так бы и сразу. Смазка будет.

Пассажир открыл переднюю дверцу.

- О, да тут занято...

И расположился на заднем сиденье, обхватив рукой вещи.

- Дочка, - объяснил отец, - Мать нас с ней из дому выгнала. Но мы и сами проживем, верно, Маш?

- Не совсем ведь выгнала, пап!

- Дурочка, я ж шучу.

Застеснявшись, Маша кивнула и стала разглядывать прохожих на тротуарах.

- У меня тоже дочка в Муроме. Вот куклу ей везу. Посмотреть не хочешь?

На сиденье легла коробка. Маша вопросительно взглянула на отца.

- Посмотри, чего ж, руки не отсохнут.

Маша вежливо сняла крышку. Кукла была ослепительная: синие глаза, черные ресницы, желтые волосы. Платье - модное. Даже бусы и часы на руке. Закрыв коробку, девочка сказала равнодушно:

- У меня полно кукол, да, пап? Целых двенадцать штук...

- Ну, такой у тебя, положим, нету, - возразил пассажир. - Я сам торговый работник, весь поступающий товар знаю. Это новинка, импорт из Венгрии. Нету?

- Такой нету, - призналась Маша.

- Скажи отцу, пускай приобретет. Сейчас как раз завоз.

- Приобретешь, - засмеялся отец, - а мать ворчать будет...

- Разве ж таксисты мало гребут?

- А торговые работники мало?

- Вроде и немало, - неопределенно протянул клиент. - И зарплата текет, и навар. Но рублю-то цена копейка, сам знаешь.

- Мама говорила, в рубле сто копеек.

- Много она понимает, твоя мама, - проворчал отец.

- По-моему, бабы не виноваты, - сказал пассажир.

- Кто ж тогда виноват?

- Деньги ненаглядные! Они ведь скользят да вертятся. Тут возьмешь, там отдай. Круглые, что твой руль.

- Пап, почему деньги круглые?

Маша смотрела, как выталкивают одна другую цифры на счетчике. Пассажир глянул на счетчик, потом на девочку, сощурился:

- Круглые? Потому как гуляют по кругу. Вон, вишь, вертятся? Ты даже глаз оторвать не можешь - гипноз! Отец отдает твоей матери,

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

мать продавцу в магазин, продавец в такси садится - опять отцу, отец опять матери.

- А мама мне на мороженое?

- И на мороженое. Детям тоже радость положена.

Отец долго молчал.

- Впрямь круглые, - вдруг согласился он. - Ты их крутишь, они тебя. И все норовят вкруг горла, вкруг горла. Только, по-моему, все ж деньги не полную цену имеют.

Пассажир заинтересованно наклонился к отцу.

- Что же, по-твоему, имеет полную цену?

- Не знаю. Люди-то должны быть людьми. Али теперь уж нет?

- Ну, люди! - клиент расхохотался. - Чего они стоят? Практика показывает: и копейки человеку за так нельзя дать. Дашь - возьмет и тебя же в дерьмо обмакнет. Жизни цену определяешь, только когда заболешь и в карман врачу клади. На людей, брат, надейся, а сам простофилей не будь. Ищи, где плохо лежит! Деньги на деревьях не растут.

- А если б росли? - скосил глаза отец.

- Если б росли, я бы Мичуриным стал. Выводил бы гибриды - полсотенные с сотенными скрещивал. - Пассажир засмеялся, удовлетворенный родившейся мыслью. - Вот какая агрономия, верно, дочка? Учат вас в школе разной ерунде, а как деньги делать - предмета такого нету. Еще, называется аттестат зрелости. Вот она, зрелость-то!

Он постучал по карману. Маша хотела защитить школу, но не знала, как. Скоро месяц, как она во второй класс ходит. И будет всегда в школу ходить, потому что дома еще скучнее. Санька же в шестом классе. Он про деньги давно все знает. В магазин сам ходит и к отцу в день полочки едет, чтобы скорей деньги матери привезти. А то отец еще когда дома появится. Они с Тихоном с полочки должны в шашлычную зайти. Они уважают шашлычную.

Отец, резко повернув, остановился у стеклянного подъезда Курского. Пассажир стал шарить в карманах.

- Сколько там, дочка, натарахтело?

Маша быстро прочитала:

- Ноль два семьдесят восемь.

Человек протянул бумажку - пять рублей.

- Не мало?

- Ладно! - сказал отец.

- Пятьсот копеек, - сказала Маша и стала загибать пальцы, беззвучно шевеля губами. - Сдачи я сейчас посчитаю.

- Да не считай, - заторопился пассажир. - Вот только куколку у тебя заберу. Ну, пока, доченька.

Он вылез, вытащил чемодан с авоськой, коробку и смешался с толпой.

- Хороший дядя...

- Ничего... Все хорошие, пока...

- Пока что?

- Да так... Поехали не стоянку, пока нас тут не прижучили.

На стоянке - толкотня, чемоданы, детский плач, мешки, лица всех наций, дым, ящики, базар, ругань. Наверное, только что пришел поезд. Отец хлопнул дверцей, обошел машину.

- Чья очередь?

Машин нос расплющился о стекло. Она изо всех сил колотила в окно.

- Ну, чего тебе?

- Пап-пап! Посади вон того Гитлера с птичкой.

Отец подмигнул и, пока трое с большими чемоданами ссорились, кому садиться первому, привел за рукав и посадил худого старика в синем выцветшем костюме. У него были смешные квадратные усики, и этим он напоминал Гитлера. Гитлер держал в руке клетку. В клетке сидела на жердочке голубая птица.

- Так я, собственно говоря, молодой человек, вне, так сказать, очереди.

- Знаю! Дочке ты понравился... Куда?

- Собственно говоря, на Птичий рынок.

- На Птичий, так на Птичий...

- Поставьте клетку сюда, - Маше захотелось поиграть с птичкой.

- Пожалста! Я ее крепко буду держать.

Она обняла клетку и просунула внутрь палец. Палец был тоненький, и голубая птица клюнула его, приняв, видно, за червяка. Но не больно.

- А это какая птица?

- Попугайчик, милоч, волнистый.

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

- Он поет?

- Разговаривает, если не волнуется. Только о чем, неизвестно.

Ехали долго, у светофоров были пробки, а где светофоров не было, пробки были еще длиннее. Никто не хотел пропускать других, и движение стопорилось. Отец вывернул влево, обошел несколько машин, и тут же услышал посвист гаишника. Тот не обращал внимания на пробку, но выискивал, кого бы остановить.

- Нарушаем? Попрошу документки.

Гаишнику, Маша знала, всегда оставляют, если ни за что, то десять рублей. Но не просто дают, а так, чтобы он не обиделся. Иначе придется ждать, пока он сочинит бумагу в парк, а за ее ликвидацию надо будет давать уже не десять, а двадцать пять рублей. Папа умеет с ними разговаривать, всегда хватает десяти рублей. Но тут разговор пошел долгий. Из-за того, что такси остановлено посреди дороги, машин скопилось еще больше.

Старик все время бормотал что-то, кивал и гладил рукой щеточку усов. Девочка пыталась поговорить с попугайчиком. Тот поворачивал набок голову, прислушивался. А то начинал метаться, испугавшись визга тормозов. Иногда Маша оборачивалась, и тогда старик подмигивал ей или тихонько свистел:

- Чифырть-чифырть-чику! Чику-чифырть!..

Наконец, все уладилось.

- Десять? - спросила Маша со знанием дела.

- А как же! - отозвался отец. - Чтоб он ими подавился!

- Извини, сынок, - проговорил старик. - Это я такой невезучий.

При мне всегда что-нибудь да не так.

- Ладно уж, сочтемся...

Когда подъехали к Птичьему рынку, Маша погладила клетку и по- пыталась посвистеть, как старик. Но не получилось. Она обняла отца за шею и зашептала ему в ухо.

- Ты что - дурочка? Мать же нас убьет... - Но тут же, отстранив дочку, спросил старика. - Продавать, что ли?

- Собственно говоря, однако, да.

- Почему?

- Тут главное, - старик засмутился, - в какие руки, так сказать, отдавать. Если в чистые, тогда совсем задешево и с клеткой. У старухи астма, птицу в дому держать нельзя.

- Тоже правильно! Пятерки хватит?

- Хватит, конечно, хватит! - растерялся старик, вертя в руках деньги.

- Только Вот ведь какая мелодия: мне теперь рынок-то ни к чему. Меня старуха дома ожидает.

- Зачем дело стало? Обрато на вокзал свезем, Маш?

Она кивнула.

- Накладно мне выйдет.

- Да так отпезу! Я уже эту сумму из попугая вычел.

- Счастливыи ты человек, - сказал старик. - Знаешь практику жизни.

- Да уж счастливый, дальше некуда!

- Сам-то из каких?

- Я-то? Гегемошка, кто ж еще?

- Как-как?

- Ну, гегемон. Пролетарий, то есть

- Рабочий класс? Это хорошо. А я вот из кулаков. Так сказать, классовый враг. За это просидел молодость, пришлось...

- Не повезло!

До самого вокзала старик держал пятерку в руках. А как приехали - заморгал, засуетился, вытащил кошелек, спрятал туда деньги и все что-то причитал. Потом полез в карман и вытащил пакетик проса.

- Вот, милоч! Чуть корм отдать не позабыл...

- А попугай теперь насовсем мой? - спросила Маша.

- Твой, твой! - успокоил ее отец. - И Санькин, конечно, тоже...

- Замечательный Гитлер, добрый.

- Откуда ты Гитлера взяла?

- Из телевизора. Только этот лучше. У него, наверно, денег мало.

Отец ее не дослушал, вылез таскать мешки. В такси расселся восточный челопок в кепке с огромным козырьком, загорелый и в себе уверенный. Багажник и заднее сиденье они с отцом набили мешками грецких орехов и теперь ехали на Черемушкинский рынок.

- Между прочим, как у вас тут теперь с культурным обслуживанием? - первым делом осведомился пассажир.

- В каком смысле? - оценивающе посмотрел на него отец.

- Блондинки, между прочим, на вечер в наличии не имеется?

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

- Блондинки по червончику штука, - не отрываясь от дороги, сразу сказал отец.

- А брюнетки? - встряла Маша.

- Брюнетки не надо, - отрезал пассажир. - Мы сами брюнеты.

Когда выгрузились на рынке, он напомнил:

- Давай блондинку, только без обмана.

- Вот, - отец достал записную книжку, дал ему карандаш и продиктовал номер - Скажешь, от Семен Семеныча. По телефону лишнего не болтай, ясно? С ней отдельно считаешься.

- Она Азербайджан уважает?

- Она всех уважает, кто платит.

Восточный человек расплатился за такси и за номер блондинки. Отец с Машей уехали.

- Зачем ему блондинка, пап?

- В кино сходить.

- А аборт?

- Что - аборт?

- Аборт она будет делать?

Девочка сидела в обнимку с клеткой. Попугай забился в угол, дремал. А они все ездили и ездили. Везли туристов с рюкзаками, инвалида на костылях, за ним семью - мать, отца и двух близнецов. Оба близнеца одинаковыми голосами выли на всю улицу. Высадив их, отец закурил, проехал немного и остановился возле винного магазина. У входа стояла толпа, ожидая конца обеденного перерыва. Такси зарулило во двор.

- Ты к Клавке?

- С чего ты взяла?

- Дядя Тихон сказал.

- Чем болтать, погуляй-ка вокруг машины, погляди, чтоб во двор никого не занесло. Я быстро.

Отец исчез в двери, загроможденной по бокам пустыми коробками. Потом показался снова.

- Никто здесь не шастал?

- Никто!

Он вытащил из-за двери и, прижимая к животу принес коробку. На ней было написано: "Брутто. Нетто".

- Брутто и Нетто - братья, пап?

- Да помолчи ты!

Он поставил коробку возле багажника и ударом кулака открыл замок.

- Ой, сколько огнетушителей! - воскликнула Маша. - Пять штук!

- Держи-ка! - он дал ей в руки один и стал отвинчивать другой.

Сняв крышку, он опустил внутрь бутылку водки и снова завинтил.

- Секрет, - он первый раз за весь день рассмеялся.

- Какой же секрет? - рассудительно сказала Маша. - Пять банок дядя Тихон ночью реализует. Только зачем ему деньги? Ведь у него жены нет, ты сам говорил.

- Зато бабы есть, - сурово сказал отец. - Это еще дороже.

- Почему дороже?

- Потому что их много, а он один, поняла?

- Поняла.

Потом они стояли на стоянке, и отец выкурил полпачки сигарет. Маша стала кашлять от дыма и ей захотелось есть. Но отец ведь работает, попросишь - рассердится. Лучше потерпеть. И она стала кормить попугая. В машину никто не садился.

- Загораешь? - к папе подошел шофер из соседнего такси - Дай-ка курнуть. Все норовят пешком пройти или, в крайнем случае, на трамвае, а деньги в чулок.

- Зачем в чулок? - спросила Маша

- Из чулка они не вываливаются, если не дырявый...

Шофер прикурнул и отошел.

- Ну-ка, подвинь свою клетку, - пробурчал отец. - К лешему их всех, поехали!

У шашлычной на Ленинградском проспекте теснилась очередь. Отец пробрался сквозь толпу, волоча за собой дочь, и пнул дверь. Гардеробщик, фуражка золотом, как папу увидел, сразу засов скинул.

- Лида в смене?

- Тама, куды она деетсяя!

Маша цепко держала отца за карман куртки. В зале пахло дымом, шум стоял, как в бане. Если по ушам хлопать, получается музыка.

- Стой тут, с места ни-ни!

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

Отец исчез. Когда он вернулся, им сразу показали на столик в углу, возле раздачи. Ничего не спрашивая, официантка Лида принесла два шашлыка и бросила на стол пачку сигарет. У нее, как у снегурочки, на черных волосах трепетал кружевной кокошник. Лида устало присела на край стула.

- Чо не заходишь?

- Работы по завязки.

- У, ее вечно по завязки, работы-то. И вся черная. Так и жизнь пролетит, как ворона. А радости не видать...

- Дак к тебе же Тихон зачастил!

- Ну и чо? Я ему полста в месяц плачу за то, что он меня сюда возит.

- А я, значит, дармовой?

- Венгерский офицер с женщин денег не берет. Может, мне с тобой интересней.

Вынув из кармана зеркальце и помаду, Лида взглянула на себя, обвела помадой губы. Приведя себя в порядок, придирчиво, но без ревности, оглядела Машу.

- Разрежь мне, - попросила девочка отца.

Он разрезал ей мясо мелкими кусками, отломил край булки.

- Чо дома - уже и не кормят? Нынче-то воскресенье...

- Полаялись.

- Заехал бы вечером. Я сегодня в восемь освобожуся, Тихон занят...

- Девать, вишь, некуда, - он глазами показал на Машу.

- Ну и дурак!..

Лиду звали клиенты, и она, вздохнув, поднялась.

- Деньги-то возьми, - бросил ей вслед отец.

- Ты же в деньги не веруешь, - усмехнулась она. - Все не зарабатываешь, а мало мне не надо.

- Тут без денег кормят? - спросила Маша.

- Без денег нигде не кормят. Недотепа ты у меня. Вот Сашка, тот все понимает. Как-нибудь враз рассчитаюсь, соображаешь?

- Конечно, соображаю.

- Вот-вот...

Он вынул четвертак.

- На-ка, спрячь в карман для матери, чтобы она не ныла. А то еще растратим!

Дочь спрятала бумажку в карман, дожевала соленый огурец и отодвинула железную тарелку. Отец взял с ее тарелки оставшийся холодный кусок, жир да жилы, прожевал, закурил, надел фуражку и пошел. Маша собачкой побежала за ним.

На этот раз они везли двух болтливых рыбаков с амуницией. Те тоже спросили про Машу. И опять пришлось объяснять. Предложили отцу заплатить свежей рыбой.

- Протухнет она у меня до конца смены. Не то бы взял.

Маша и не заметила, как уселся бритый парень в пиджачке, явно купленном только что. Даже ярлык не оторван.

- Чего стоишь, ля? Езжай, ля, быстрее!

- Скажи, куда - поедем...

- Крути баранку, ля, отседа. Потом, ля, скажу.

Он елозил по сидению, то и дело отирался, а когда поехали, за-пел, верней, загнусавил что-то, но тут же и оборвал. Вдруг пере-гнулся к отцу и показал пистолет.

- Сгоняем на одно дельце, ля? - он поиграл пистолетиком на ладони. - Подожмишь полчасочка в одном месте, ля, за углом. Тебе пятьсот тугриков и вали. Дело чистое, не мокрое, верное. И пять кусков за голенищем, ля.

Бритый убрал пистолетик в карман, открутил окно и харкнул. Попав в соседнюю машину, захохотал.

- Я бы с удовольствием, - осторожно сказал отец, - да вот, вишь, дочку надо срочно везти к врачу, заболела.

- Ну и дурила, ля! - сказал бритый без особой обиды. - Встань, ля, вон там. Другого, ля, возьму. Дай цыгару и вали отседа, покеда, ля, не пришил!

Бритый закурил, вылез и хлопнул дверцей с такой силой, будто выстрелил. Отец отъехал бледный и хмурый.

- Анекдот, да, пап?..

Маше хотелось сказать отцу что-нибудь приятное. Он грустный все время. Сцепление у него куда-то ведет, вот в чем беда.

- Мне в шашлычной понравилось, - прошептала она ему на ухо.

Он немного отошел, кивнул, подмигнул:

- Вот и хорошо.

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

- И тетя там красивая, да?.. А к маме скоро?

Отец зыркнул на Машу и стать смотреть по сторонам.

- Ладно! - решительно сказал он. - Поехали за рублем, а то день пустой.

Подкатили они к стоянке возле универсама "Москва". Пассажиров было полно и ни одного такси.

- В Домодедово, в аэропорт! Только в аэропорт везу, - стал кричать отец, приоткрыв дверцу.

- Вот и ладненько, что только. Как раз подходит!

Человек в мятом черном костюме и черном галстуке сразу согласился. За всю дорогу не произнес ни единого слова, а возле аэровокзала расплатился по счетчику. Мелочь вынуть не поленился, копейки отсчитал.

- И это все? - тихо спросил отец.

- А чего ж еще?

- Добавить надо за вредность производства... А то, смотри, обратно отвезу.

Пассажир испытующе посмотрел на него и вынул из кармана удостоверение ОБХСС. Отец скис.

- Ну, так что? - пассажир продолжал смотреть внимательно, любясь произведенным эффектом. - Давай-ка к нам прокатимся, актик составим - вымогательство да еще с угрозами? И родственников возишь на служебном транспорте. Тут, в Домодедове, недалеко.

- Да какие же угрозы? - хмуро произнес отец. - Я пошутил.

- За такие шутки знаешь...

- Мы что, не свои люди?

- Видно, не свои, раз глаз не наметан, у кого брать.

- Ну, ошибся, сосчитаемся! У тебя когда день рождения?

- Не все ли равно?

- Может, скоро? У меня для тебя подарок есть.

- Другой разговор. Только это будет взятка. Да еще при свидетелях, - обхезэсник покосился на Машу, захлопнул удостоверение и спрятал в карман. - Что за подарок? Я тороплюсь.

Пришлось подняться с сиденья, пойти к багажнику и вытащить бутылку водки.

- Держи, не разбей! "Столичная". Себе купил.

- На ночь, что ль запасаюсь? - спросил клиент, ввертывая бутылку во внутренний карман пиджака. Ладно уж, на этот раз езжай. Я сегодня добрый.

Отец проводил его глазами и уселся за руль.

- Скучаешь? - он завел мотор, и рукой, пахнувшей маслом, похлопал дочь по щеке. - Заплатил по счетчику, и на том спасибо, верно, Маш?

Она кивнула

Возле аэровокзала он съехал на стоянку, пробрался поглубже между машин и опустил щиток с надписью "Обед". Маша тихо сидела, держась за клетку, и следила глазами за отцом. Он толкался у выхода из аэровокзала и наметанным глазом отбирал подходящих клиентов. Привел одного и, усадив в машину, велел ожидать. Потом привел второго. Оба ждали молча, озираясь по сторонам. И Маша молчала. Вдруг она увидела, что отца бьют.

Били его прямо возле выхода, у стеклянных дверей. Их трое, а он один. Маша закричала и бросилась на помощь. Клубок крутится - не поймешь, кто где. Бежать далеко, машины сплошным потоком поперек. Плача, она ухитрилась схватить отца за рукав. Но тут же ее сбили с ног, даже не заметив, как она откатилась к стене. И хорошо, что откатилась, а то бы убили и тоже не заметили.

- Хватит, кому говорят! - клубок стали растаскивать двое милиционеров, но лени вмешиваться не собиравшихся, но построжавших, когда ребенка сбили на виду публики.

Драка иссякла. Отругиваясь и грозясь посчитаться, отец пробрался между чужими руками и ногами, получил еще удар в спину, но уже увидел дочку, стал на колени и поднял ее на руки.

- Ты цела?

- Цела, цела, - повторяла Маша, рыдая. - А ты? Ты?

Он принес ее в машину, усадил и сам сел. Глянул на себя в зеркало, оторвал кусок газеты и молча стирал кровь с подбитой губы. Под глазом назревал подтек.

На заднем сиденье, плотно прижатые двумя большими чемоданами, покорно ждали клиенты.

- Ну, что там? - спросил пассажир с "дипломатом" в руке.

- Суки! - цедил отец. - Хотят, чтобы делился. С вас, значит, с каждого, по двадцать пять, а им отдай двадцать пять с рейса ни

за что. А то, говорят, шины будем резать. И легавые с ними заодно. Пусть застрелятся, не дам! Как жить, а?

- Надо платить, - рассудительно высказался пассажир с дипломатом. - Платить, а то порежут. И зубы протезные дороже своих. Такое дело: плати или убьют. Хотя, для конкретного случая все одно: дал бы им двадцать пять, а за это спокойно взял бы третьего пассажира. А так не дали. Правильно я рассуждаю?

Другой клиент, средних лет деревенский мужик, тихо сопел, забившись в угол, и, на всякий случай, в дебаты не вступал.

- Машка, ты в порядке? - отец немного успокоился и повернул ключ зажигания.

- В порядке, - неуверенно прошептала она, все еще всхлипывая и разглядывая содранные коленки.

- Тогда поехали. Матери не говори, что драка была.

Отец опять закурил и вышвырнул в окно пустую пачку. Маша проводила ее глазами. Пачка взмыла вверх, затрепетала в воздухе и шлепнулась на асфальт. В этот момент встречный грузовик поднял ее в воздух. Пачка опять упала, заковыляла и тут же распласталась, придавленная очередным колесом.

Замелькали желтые, облезлые деревья по обоим сторонам шоссе. Пошел дождь, зашлепал по стеклу один дворник. Другой оказался поломанным. Отец матюгнулся, а потом, поглядев на Машу, в более вежливой форме стал клеймить позором напарника Тихона, который выжимает из машины бабки, ни о чем не заботясь.

- Небось, и сцепления не сделал, потому что на слесарях сэкономил, - ворчал он. - Или ждет, чтобы я его у барыг купил.

Пока они развезли двух пассажиров по Москве, на Таганку да на Зорге, совсем стемнело. Зато дождь прошел, только воздух остался сырым и зябким. Маша стала кашлять, мерзнуть, съежилась и положила ладошки между коленок. Отец включил печку. Снизу подул теплый воздух, стало уютно, почти как дома. Девочка заморгала часто-часто и стала смотреть на счетчик, чтобы не заснуть. Цифры прыгали, прыгали, прыгали. Люди выбирались из машины, влезали новые, мокрые. От них летели брызги, и Маша морщилась. Она сидела, вцепившись руками в сиденье, и смотрела вперед, на грязный асфальт, который убегал под машину.

- Все! - крикнул вдруг отец, да так громко, что Маша вздрогнула

- Ну, довези, дяденька, чего тебе стоит!..

- И за сотню не поеду. В парк, девочки, еду, в парк! Время вышло. Видите, ребенок совсем спит?..

Одна из девочек наклонилась, просунулась в окошко и сипловато спросила:

- А порошочка нету?

- Нету, нету, - бросил он, отцепляя ее руку от дверцы и трогаясь.

- Этим не балуюсь. Других спроси!

- Зубного порошочка, пап?

- Конечно, зубного! Видала их рожки? То-то!

Маша опять задремала, а открыла глаза на въезде в парк.

Тут было темно, и стоял длинный хвост машин. Отбивала Андрей, протягивая из окошечка руку, брал у каждого путевку, опускал под стол, а затем вытаскивал и грохал штемпелем. Отец тоже достал свою путевку и, как все, сунул в нее трояк, чтобы ему не отметили опоздания, трояк добавил за вопрос о Маше и сложил путевку вчетверо.

Въехали на мойку, и отец опять вынул трояк, и сунул в халат старухе-мойщице, которая включала щетки и тряпкой протирала заднее сиденье.

- У тебе здесь чисто, блевоты нема! - сказала мойщица, но трояк взяла.

Они опять протискивались в лабиринте машин с зелеными огнями. Возле забора отец остановился, и стал раскладывать деньги из разных карманов на сиденье, бурча себе под нос:

- Это в кассу, это слесарям, это бригадиру, это начальнику колонны...

- А бабушке? - спросила Маша.

Не отвечая, он прикидывал, сколько в той трети, которая пойдет от начальника колонны пополам директору таксопарка и секретарю партбюро. Директор треть своей шестой части отдаст начальнику районного ГАИ, а секретарь партбюро секретарю райкома. А уж кому далее и какие доли, нас не касается. Кому надо, свое получат.

- Погоди-ка! - он пересчитал кассу. - Не сходится же...

Вздыхнул, закрыл глаза и, положив голову на руль, полежал.

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

- Маш! - крикнул он. - Денег-то в выручке не хватает. Старика бесплатно везли, а еще?.. Видно, в драке у меня из куртки выдернули. Четвертачок дай-ка обратно!

Она порылась в кармане платья, извлекла бумажку.

- Так... А червончик на, Маш, спрячь...

Вылезал он из машины медленно, долго растирал затекшую спину.

- Пап, а дяденька, который велел Тихону звонить, хороший?

- Чего?!

- Ну, дяденька, который со скрипом...

Посмотрел он на нее, устало вздохнул и не стал отвечать. Только хлопнул дверцей со злом и исчез между машин.

Когда отец вернулся, Тихон уже сидел на сиденье, на его месте, рядом с Машей.

- Ну и дочка у тебя, юмористка. Сколько, спрашиваю, взяли за день? Дак она мне червонец показывает. Ха!

- День плохой, правда.

- Хитришь, поди. У Клавы приобрел, что надо? Ну, я за твоё здоровье нагребу.

- До свидания! - вежливо сказала Маша, вылезая на холод.

- Ха! Прощай, цыпленочек!

Взяв дочь на руки, он понес ее, как маленькую. Хорошо, что дождь перестал. Она обняла отца и уткнулась ему в шею носом. Шея пахла шашлыком, бензином и еще чем-то сладким. Автобуса они ждали долго. К себе в Бескудниково, которое отец называл Паскудниковым, дотащились не меньше чем за час. А вышли из автобуса - у Маши застыли ноги и спать расхотелось.

- Пробегишь немного, согрейся, - во дворе отец спустил ее на землю и побренчал в кармане мелочью. - Я за углом сигарет куплю, если открыто.

Во дворе еще повизгивали железные качели. Две девочки в темноте раскачивались, кто выше. Маша подошла к ним.

- Я на такси целый день каталась. Думаете, нет?

Она порылась в кармане.

- У меня десять рублей есть. Настоящие. Давайте в шашлычную играть...

Когда отец вернулся во двор, Маши уже не было. Он поднялся по лестнице, открыл своим ключом дверь и громко сказал:

- Вот мы и дома!
- Это еще что? - жена обнаружила в его руках клетку.
- Попугайчик волнистый.
- Волнистый? А говоришь, я барахольщица.
- Это не барахло. Машка просила...
- Ты и рад стараться! Да где она-то?
- Разве ее нету?

Он бросил клетку на пол и, оставив дверь открытой, побежал вниз.

- Где шляешься?

Радостная, она поднималась ему навстречу, облизывая языком бумажку от мороженого.

- Наследили-то в квартире! - всплеснула руками мать и побежала в уборную за тряпкой.

Отец швырнул фуражку в угол, под зеркало, и пятерней пригладил слежавшиеся волосы.

- Матери деньги - забыла?

Маша тут же вытащила пару монет.

- И больше ничего? Ну, куда дела?..
- Девочкам я мороженое тоже купила. Им очень хотелось.
- А сдачи?
- Сдачи дядя взял.
- Какой еще дядя?
- Большой такой, небритый. Он оставил шестнадцать копеек.

- Та-аак! Мужик-то уже, конечно, далеко. Но она-то! Крашеная такая, с фиолетовыми волосами? И молчала, крыса! Пошли, я ей хвост оторву.

- Она уже заперла, пап. Нам и то не хотела продать.

- Ладно, завтра я ей выдам! Матери только не говори! Вошла мать и начала вытирать пол у них под ногами.

- О чем шепчетесь?

- Да вот, деньжат тебе привезли, чтобы утром перебиться. А завтра в парке аванс...

- Наконец-то сообразил, - удовлетворенно сказала мать. - Можешь ведь заработать, когда хочешь, можешь. А то все, как люди, а ты?

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

Пошарив в кармане и подмигнув Машке, отец, как фокусник, вынул пару мятых червонцев. Потом, подумав, добавил к ним из другого кармана пятерку. Мать обтерла ладонь о халат, разгладила банкноты и подняла на отца глаза.

- И за это ты пахал целый день? - она хотела прибавить еще что-то, обидное, но сдержалась. - Что это у тебя под глазом?

- Подрался.

- Уж не в Домодедове ли опять? Не ездей ты туда! Глаз чуть не выбили.

Он промолчал. Мать спрятала деньги в карман, смахнула с отцовского лба капли дождя.

- Зарплату сам завтра принесешь. Саньку посылать не буду.

В дверь позвонили. Вошла соседка Нинка, проводница поезда "Москва - Берлин". Нинка провозила дефицит туда и обратно, а мать ей помогала сбывать: ездила по городу, сдавая ее вещи в комиссионки.

- Урожай собрала? - спросила Нинка. - Давай!

- Сегодня ж воскресенье! - удивился отец.

- Конец месяца, - пояснила она. - Комки для плана открыты.

Мать принесла сумочку и вслух отсчитала двести двадцать пять рублей. Четвертной Нинка шикарным жестом вернула матери обратно, за труды.

- Зайди потом, - довольная Нинка упрятала деньги в лифчик. - У меня кой-что еще есть в наличии. Только не сегодня: хахаль у меня неожиданно сыскался. Сегодня причалит.

Нагло вато подмигнув Маше, она исчезла.

- А сколько ты у нее зазначила? - спросил отец, когда дверь за Нинкой закрылась.

- Она ж квитанции проверить может. Но я одно ее старое платье узбекам на рынке спустила. Шестьдесят себе.

- Вот! И все жалуешься...

- А что ж - на тебя рассчитывать?

- У Нинки хэхаль новый, - сказала Маша. - Участковый, младший лейтенант. У него жена была, да сплыла.

- Все-то знаешь! - проворчала мать.

- Нинка же сама во дворе делилась. А мы с папкой, знаешь, где были? В шашлычной! Там соленый огурец дают, шикарный. А Санька дома?

- Дома, дома Где ж ему еще быть...

- Он попугая видел?

Клетку Санька вынес на кухню и поставил на стол. Попугай спал, поджав под себя одну ногу и зажмурившись. Санька опустился на колени перед табуреткой и наклеивал в альбом марки, ловко смазывая их языком.

- Видала? - он показал на только что вынутые из конверта. - Сегодня приобрел. Бабушка мне за четверку по физике рубль дала. И у меня свои еще были...

Маша тоже опустилась на колени. Вот так марки! Большие, яркие, и на них звери. Таких даже в зоопарке не увидишь. Санька собирал марки со зверями, и Маша со зверями.

- Иностранцы?

- А как же!

- Вот эти одинаковые, - ткнул пальцем Санька. - Хотел в классе продать, но никто не раскошелится. Если хошь, бери.

Она сразу сгребла три марки.

- Ты мне за шесть штук была должна, - оставшиеся марки Санька засунул в конверт. - Теперь, значит, за девять.

- А где ж я возьму?

- Где? Накопи денег и отдашь. У матери возьмешь на мороженое, так ты сливочное не покупай. Купи молочное, и останется. Поняла?

- Ясно! Берешь на сливочное - покупаешь молочное, и останется. А попугай у нас на кухне будет жить, да?

Все-таки глаза слипаются. Отец уже лежит на диване, тоже вот-вот заснет. Маша молча подходит к матери и просовывает ладошку в ее ладонь. Мать все понимает. Она ведет дочь сначала в ванную, моет ей лицо, потом волочит в комнату. Раздевает, набрасывает на худенькое тельце ночную рубашку с розовыми цветами. Ставит рядом с буфетом раскладушку, укладывает Машу, укрывает одеялом, многозначительно взглянув на отца.

- Измучил ты ее вконец, - шепчет мать, на этот раз совсем не сердито.

До Маши сквозь сон едва долетают эти слова. Папа все-таки очень хороший: целый день катал ее на машине. Только на животе вечером не покатались. И официантка Лида хорошая: такой заме-

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ

чательный соленый огурец ели. Мама тоже хорошая. И попугай в клетке отличный. Санька просто замечательный. Марки купил себе и три штуки мне продал. А деньги такие круглые-круглые. Берешь на сливочное, покупаешь молочное, и оста...

КОНЕЦ КОМАНДИРОВКИ

Лифт в гостинице, конечно же, ремонтировали, и Полудин потащился вверх по лестнице на своих двоих. Звук шагов отсутствовал: ступени покрывала мягкая дорожка, а ее - серое, в грязных следах, полотнище, сберегающее от постояльцев невидимую красоту дорожки.

Полудин устал и теперь был весь в предвкушении кейфа.

Ну, потрепали друг другу нервы, как положено, и успокоились. Проект-то давно принят, акт подписан, хотя главный конструктор вяло бурчал, что еще не известно, потянет ли транспортер при высокой температуре. Мелкие претензии заказчика обещано удовлетворить под честное слово. Там будет видно, переделывать или нет. Обещание это на бумаге не зафиксировано. Как многие российские люди, Полудин не мог не схитрить, но и хитрить было лень. По этой же

причине заказчики сделали вид, что поверили: им тоже все было до лампочки. Завтра придется отметить командировку и - домой.

Комбинировать Полудин умел не лучше и не хуже других. Секретарше, у которой он отмечал командировку, он дарил конфетку, а потом просил поставить печать без даты, так как он не может достать билет и уедет через пару дней. Билет он достать всегда мог посредством личного обаяния и старался уехать сразу. Если билетов не было, он приходил к поезду и давал в лапку проводнице.

Потом, дома, эти два дня Полудин валялся в постели и глядел телевизор, а вечером, до прихода жены, уходил с друзьями просадить червонец, заначенный у государства не без приложения личной энергии. Друзья эти были не с работы - для тех он еще не вернулся и по телефону отвечал писклявым голосом: "Папы нету дома".

После отдыха, правда, приходилось съездить снова на вокзал к приходу того же поезда и для отчета купить у проводницы за рубль билет, забытый у нее частным пассажиром. Дату в командировочном удостоверении Полудин проставлял, как ему было надо. Впрочем, недавно замдиректора по кадрам и режиму Хануров завел привычку проверять присутствие подчиненных на местах и звонил на заводы. Кадровики сговорились, и командированных из Москвы стали более строго отмечать здесь, на "Химмаше", так что свобода опять ужаслась.

Сегодня у Полудина она сократилась вот до этого вечера.

Протолкавшись через проходную "Химмаша" в шесть вечера, командированный проехал в набитом автобусе до городской кассы за билетом. Билет оказался, но мягкий. На него денег не хватило, и пришлось взять плацкартный, в общий вагон. Афиша областного драмтеатра обещала пьесу о ковании чего-то железного. Весь город был в призывах отдать все силы, но от этого только больше хотелось оставить хоть чего-нибудь для себя.

Сегодня - свобода, а ее мало или вообще нету, и завтра не будет, это уж точно. Завтра будет слово "надо". А свобода - это когда не надо. Свобода бывает только в конце командировки, когда ты не там и не тут. В командировку посылают теперь не часто, экономят деньги. Ездит начальство, которому тоже хочется поставить штампик

и глотнуть свободы. В общем, плевать на "Химмаш", отрасль, Москву и весь социалистический лагерь, - Полудин будет гулять!

По дороге он обдумал вопрос с рестораном. На пятерку, оставшуюся в кармане, туда не погрешь. Хорошо еще, за гостиницу берут вперед. Не доверяют, и правильно делают. Но бутылка - это тоже неплохо. У других и на нее нету. Полудин взял водку, выброшенную к концу рабочей смены, и полбуханки черного. Все остальное давали по талонам, и стоять в очередях нужда отпала, что тоже было приятно. В киоске у гостиницы он купил спортивный журнал (вообще-то он не читал никакой прессы), и местную газету - не для чтения, разумеется, а для надобности, не удовлетворяемой в отеле из-за дефицита.

Запыхавшись, поднялся он на пятый этаж. Окно выходило на набережную Суры. Светящаяся реклама "Hotel Penza" на крыше корпуса, примыкающего углом, бросала через окно дрожащие оранжевые блики на цветастую штору. Отдельный бокс три на четыре метра, забронированный заводом специально для старшего инженера Полудина. Горничная прибралась в номере, даже грязные носки спрятала в шкаф.

Сняв шапку, он стряхнул с нее капли растаявшего снега и поглядел на часы. Без четверти восемь.

Кейф начинается.

Тщательно заперев изнутри дверь, Полудин пустил в ванную воду и снял ботинки. Они протекали второй год. Он давно откладывал деньги, чтобы в комиссионке купить поношенные импортные, но то не мог найти свой размер, то деньги улетали. Когда становилось сухо, проблема решалась сама собой, а сейчас ботинки пришлось поставить вертикально к батарее, чтобы вода стекла из носков, и они за ночь просохли.

Полудин торжественно разделся донага, побродил по комнате и постоял у окна. Достал бутылку и хлеб из портфеля, разместил рядом на стуле пачку сигарет и зажигалку, а возле них журнал. Стул придвинул к кровати, откинул одеяло, включил радио. Передавали местные известия - многословную болтовню об участниках соцсоревнований доярок, которые горели желанием увеличить число нулей возле каких-то цифр. Полудин горел не меньше других и, как все, только публично. Наедине и добровольно - ни-ни, и радио он выдернул.

Когда ванна наполнилась, он проверил, достаточно ли теплая вода, торжественно опустил в нее и стал лежать с закрытыми глазами, не думая ни о чем и думая обо всем. Чтобы не забывать о контрасте с суровой действительностью, он периодически вытаскивал из воды большой палец ноги и ощущал холод.

Поднялся он из ванны медленно, не моясь, мытье потребовало бы физического напряжения, выполнения слова "надо". Слегка обтерся полотенцем и, шастая мокрыми пятками по паркету, добрался до вешалки и надел зеленую полосатую пижаму. Жене его нравилось, что во французских фильмах мужчины появляются в пижамах, и ко дню Советской армии (легализованный мужской день для пьянства в рабочее время) она купила ему пижаму, за отсутствием французских - китайскую. Он не надевал ее ни разу, но спустя полгода жена не забыла, положила ему в чемодан.

В восемь двадцать он лег в постель, откупорил пробку. Она укатилась в неизвестном направлении. Он налил полстакана мутноватой жидкости, подождал, предвкушая блаженство внутреннего согрева, и, выдохнув воздух, вылил полстакана в рот. Водка прошла внутрь и распространилась по организму, как всегда, неплохо. Переждав, Полудин закусил горбушкой черного хлеба.

Развернув на одеяле журнальчик, он стал читать страницы с конца, с юмора. Юмор был несмешной: велосипедист остановился перед финишем погадать на ромашке "любит-не-любит". Полудин лениво прикрыл веки. Тепло растекалось, но не во все части тела, и можно было добавить еще полстакана, что и было им сделано по той же методике. Вообще-то Полудин не испытывал особого пристрастия к питью, но быть диссидентом в этой области не намеревался.

Полстакана плюс еще полстакана потянули к философии. Ромашка вернула память к прошедшему лету. Полудин идет по траве, валится и лежит, подмяв под себя ромашки. Лежит, будто умер. Зжж-зжж-зжж - звук проплыл над головой, мимо уха пронесся жук. Заняли его место, и жук не мог сообразить, куда сесть.

Лежа на животе, Полудин долго разглядывал этого жука неизвестной национальности, пока тот карабкался по ромашечному стеблю. Жук целеустремленно добрался доверху, пролез, раздвинув белые ле-

пестки, на желтый круг, пошевелил усами, расправил крылья и, оттолкнувшись задними лапами, взмыл вверх.

И снова луг наполнила тишина, уже успевшая надоесть. Отпуск кончился. Захотелось вдруг гудков машин, колготки в трамвае, тайных выпивок в рабочее время, - всего того бедлама, который надо-едаст, но без которого будто часть твоя оторвана.

Полудин стал смотреть в небо. Там висело облачко замысловатой формы. А глубина неба унижала человеческое достоинство. Почему всегда хочется того, от чего после бежишь? Человек не совершенен - вот в чем дело. Все это понимают, но никто не хочет совершенствоваться. Все уговаривают пойти на это других.

- На! Смотри!

Прибежал сын и показывал жука. Сын оказался целеустремленной жука и его изловил. Ощущение отрешенности и свободы напрочь растаяло. Оно не может продолжаться долго. Заботы заедают, а уж им-то конца не бывает.

И все же, решил теперь Полудин, между заботами удастся выкроить нечто. Состояние, когда временно тебя оставляют в покое и ишачить не надо, когда ты никому ничего не должен, когда ты не обязан: хочешь - делаешь, нет - нет. Неправильно называть это ленью. "Дольче фар ниенте", прекрасное ничегонеделание по-итальянски, но это все же делание чего-то. "Кейф" - вот замечательное слово, которое, одни говорят, турецкое, а другие считают - арабское, третьи - древнееврейское и означает "пир".

Нерусское, стало быть, слово "кейф", а очень даже неплохо прижилось у нас. Видимо, не случайно. Что-что, а гулять мы умеем не хуже турецких султанов.

Вот и теперь, в Пензе, вся неделя была смурная. И эта история с подачей компонента: может, главный прав, что транспортер долго не выдержит. Сейчас можно об этом вспомнить, а можно и не вспоминать. Ну их всех в тартарары! Полудин кейфует или, как раньше говорили, кейфствует.

Как тогда на лугу, Полудин перевернулся в кровати на живот и потянулся. Водка активизировала ум. Он взбил подушку кулаком, глотнул для оптимизма из горлышка еще глоток, заев опять хлебом, перетянул журнал на подушку. Всю страницу занимала серия фото-

КОНЕЦ КОМАНДИРОВКИ

графий - раскладка по элементам прыжков с шестом. И статья тут же. Вот такая схема: фибергласовый шест фактически сам подает тело весом килограммов под семьдесят пять к пятиметровой высоте. Там тело находится долю секунды, но этого времени вполне достаточно для того, чтобы сделать человека чемпионом мира.

Вдруг остро захотелось разбежаться, опереться шестом, чтобы тот упруго подался, а после, распрямившись, поднял персонально его, Полудина, над землей. Студентом он немного занимался легкой атлетикой, пока лень не одолела. Сейчас и поговорить-то о спорте толком некогда, да и не с кем. А подпрыгнуть охота! Есть профессии прыгучие, которые толкают на вершину. И есть ползучие, в которых одни бугры и кочки. Идешь, спотыкаясь. А можно уравнивать шансы - поставить транспортер для подачи спортсменов к планке одного за другим. Вот тут-то и зарыта собака.

Полудин замурлыкал и закурил, почувствовав, что выходит на большие социальные обобщения. У спорта и техники противоположные задачи. Спорт заставляет трудиться, техника старается избавить от труда. Хотя... есть, в данном случае, есть у них нечто общее. Ведь транспортер-то, который мы делали, вообще не нужен! Компонент можно доставлять раз в пять минут так, чтобы подающее устройство быстро сматывало удочки из зоны высокой температуры. К черту транспортер, который коллектив проектировал полтора года. В трезвом виде проектировали, не поддали для вдохновения, вот и не вышло соображения. Надо, как в прыжках с шестом: добрался до планки и - катись вниз.

Дотянуться до портфеля - дело секунды. Полудин вытянул несколько листов чистой бумаги, карандаш и стал быстро набрасывать схему. Собственно говоря, все примитивно. Рядом с бункером, на той же высоте, туда-сюда ходит механическая рука: ухватила компонент в бункере и отошла, ухватила и отошла. Все гениально просто. Можно приехать в Москву, согласовать это в отделе, провести совещание у главного инженера, одобрить в главке, и на полгода всему здоровому коллективу работы хватит. А так одному среднему инженеру вроде меня - два часа делов.

Он вскочил, вытащил из портфеля логарифмическую линейку, придвинул к кровати второй стул, отглотнул еще водки из горла, за-

кашлялся (плохо прошла - сивухой, мерзавцы, народ травят) и убрал с глаз бутылку Блестящая идея, чистая, без балды! Ай да Полудин, ай да сукин кот! Завтра покажу на заводе главному конструктору - тот опупеет.

Никто не отвлекал от дела, и сопутствовало состояние полной не-обязательности. Когда Полудин взглянул на часы, было пять минут первого. Тут раздался пронзительный звонок. Телефон звонил и умолкнуть не собирался.

Никому из заводских он телефона не давал, да и сам его не знал. Жена не стала бы его разыскивать. Дежурная по этажу, вот это кто. Хочет, небось, выяснить, когда я освобожу номер. Полудин сбросил листки со схемами на пол, придавил логарифмической линейкой и, матюгнувшись, вскочил. Снял трубку и держал равновесие на пятках на холодном паркете.

- Добрый вечер! - сказал таинственный глухой женский голос. - Еще не спите?

- Кого вам?

- А вы разве не один?

На всякий случай Полудин оглядел комнату. Почесал одной волосатой ногой другую.

- Ну, один, и что?

- А чего вы делаете? - продолжала выяснять она.

- В общем, это... ничего. Кейф ловлю.

- Кого?

- Не кого, а чего.

- И поймали?

- Допустим...

- Тогда поговорите со мной. Мне скучно.

Сонливость исчезла, уступив место мальчишескому любопытству, которого Полудин не испытывал много лет. Попросту забыл, что такое ощущение может быть. Его разыгрывали. Он понимал это и потому мог поддержать игру в том же духе

Зацепив ногой, Полудин приволочил один мокрый ботинок, потом другой, сунул в них ноги, пожалев, что не захватил из дому тапочки. Это жена виновата, не могла запомнить. Он вытащил сигарету, закурил.

КОНЕЦ КОМАНДИРОВКИ

- Что вы курите?

- "Марлборо", - сказал он, скосив глаза на пачку "Примы".

- Не очень-то вы разговорчивый, - в трубке послышалась нота удивления. - Не хотите со мной поговорить?

- А вы откуда?

- Из Кишинева. Я вино привезла.

- Вино?!

- Что ж тут особенного? Ви-но. А вы кто?

- Так сказать, инженер. Из Москвы.

- А у тебя жена есть?

- Жена? - он поколебался, заполнять ли по телефону эту графу анкеты, но охотно перешел на ты. - Допустим, есть. А у тебя?

- У меня ушел. Месяц прожили и месяц, как ушел. Не мужчина, тряпка. Подонок!

- Сколько тебе?

- Девятнадцать. Меня Ниной звать. А тебя?

- Виталий.

Надо было на всякий случай сказать любое другое имя, но уже слетело с языка.

- Виталий? Я думала...

- Что?

- Думала, что не Виталий. Виталий тебе не подходит.

- Как это - не подходит?

- Я видела.

Полудин посмотрел на часы: четверть первого. Ресторан внизу наверняка уже закрыт. Да и денег все равно нет. Как в объявлении на вокзале: "Граждане, едущие в командировку! Ресторан направо. Граждане, возвращающиеся! Кипяток налево". Бородатый анекдот, но живучий. А ведь выпить необходимо. Всегда в таких случаях с бабой надо выпить. Сперва напоить, это всем известно. К счастью, есть почти полбутылки водки, хватит.

Она прервала паузу.

- Ты почему молчишь?

- Думаю.

- Не думай, приходи в шестьсот восьмой.

- И у тебя есть вино?

- Раздала.
- Кому?
- Подонкам, которые разгружали.
- У тебя все подонки?
- Ты - нет. Не придешь, если нет вина?
- Что ты! Сейчас приду!

Трубка упала на аппарат. Полудин стал стремительно одеваться, словно мог опоздать.

За тридцать пять лет жизни ему пришлось послушать немало историй о случайных романах и прочесть кое-чего, особенно в переводах иностранной литературы. Он и сам, когда начинался авторитетный мужской треп на эту тему, мог высказать мнение о женщинах и вспомнить несколько историй. Правда, чужих, которые он выдавал за свои.

Сам он для мгновенных любовных ситуаций приспособлен, видимо, не был, и - стыдно признаться - не испытал их ни разу. Ходоком по бабам Полудин не был, это уж точно.

Броских достоинств, которые сразу привлекают женщин, как мотыльков, Полудин не обнаруживал. В студенческие годы, когда мгновенно возникали и распадались пары, он в них не попадал. И не потому, что не хотел. Просто, чтобы заинтересовать своей персоной кого-нибудь, ему надо было долго ходить, доказывать, какой он хороший. Он начал нравиться, когда у него самого первое чувство прошло и возникли совсем другие отношения - почти родственные, и надо было жениться, что он сразу же и сделал. "Тихоне свет Виталию мы отдаем Наталию. Держи ее за талию, а после и так далее". Это пели у них на свадьбе.

Наталия оказалась размеренным существом. Она ему соответствовала, жила с ним спокойно, без ссор, сотрясавших семьи знакомых. Он любил вваливаться вечером домой, жевать кофе, чтобы не пахло водкой, вместе ужинать, возиться с сыном, раз в месяц выбираться вместе в кино и раз в год - в отпуск. Инженер Полудин на вопрос "Давно ли он женат?" серьезно отвечал: "Всю жизнь".

Телефонный звонок на это и не посягал. Он манил доступностью. Он приглашал наконец-то узнать всем известное, но почему-то для

Полудина запретное. Как съездить за границу: ничего особенного, если испытал.

Из зеркала в дверце шкафа на него поглядело лицо, слишком деловое для такого случая, и он попытался улыбнуться. Но получилось нечто нагловатое, ему не свойственное. Обеими ладонями он пригладил волосы и провел пальцем по щеке, поскольку настоящий мужчина должен быть не только слегка пьян, но и чисто выбрит. Надо спешить. Бутылку он взял с собой.

Дверь номера, как на зло, заскрипела. Дежурная спала, положив голову на локоть. Она вздрогнула, глянула, куда он пошел, но ничего не сказала.

Он поднялся на этаж выше, слегка напряженный небольшой тигрик, готовый к прыжку. Нужно было взять с собой пижаму, чтобы переодеться. Все-таки пижама, как во французских фильмах. Какие говорить слова? Нет в запасе ничего подходящего. Полудин вообще плохо умел говорить, когда необходимо, а без слов ничего не получится.

У шестьсот восьмого он перевел дыхание. Решительно поднял палец и постучал. Донеслись шаги. Кто-то остановился за дверью совсем близко. Слышно было дыхание. Потом замок щелкнул, дверь приоткрылась.

На Полудина изумленно смотрела смуглая девчушка с большими черными глазами и черноволосая. У нее был длинный нос с толстой переносицей, это он запомнил твердо. Она показалась ему слишком маленькой и толстой, явно некрасивой. Но после, вспоминая, он видел ее хотя и маленькой, но стройной, и некрасивость списал на застенчивость, которая даже привлекала.

- Привет, - бодро сказал он, помня о том, что слова приближают цель. - Вот и мы...

- Вам кого? - глаза ее в полутьме расширились.

- Ты что, Нин?..

- Вы ошиблись. Здесь такой нету.

- Как нету? - такого поворота он не ожидал. - Шестьсот восьмой?

- Шестьсот восьмой, а Нины нет.

Девушка глядела на него насмешливо, а может, это ему лишь показалось.

- Извините... - только и произнес Полудин, с трудом ворочая языком.

Находчивостью он не отличался, это уж точно.

Дверь закрылась, хрустнул замок. Виталий постоял, повернулся и, машинально отхлебнув на ходу из бутылки глоток водки, растерянно побрел к себе, все еще не желая признать себя попавшимся на элементарный розыгрыш. Хорошо еще, что пижаму не взял с собой. Ничего не поделаешь. Злиться не на кого. Следующий раз не будь таким ослом. А сейчас забыть, забыть все.

Кейф продолжается!

Он разделся, лег и, укрывшись с головой одеялом, начал было дремать, когда раздался звонок. Пришлось высунуть руку и взять трубку.

- Ну, что? - обиженно спросил он.

- Ты на меня сердисься? - спросила она. - Очень? Я понимаю, что получилось глупо. Страшно стало, просто дух захватило.

- Чего же ты звонишь?

- Приходи...

- А ты опять?

- Нет, теперь приходи. Я почти не боюсь. Знаешь, как плохо одной?

- Если так, теперь уж ты иди!

Она помолчала немного. В трубке было слышно ее прерывистое дыхание.

- Я не могу долго быть смелой. Меня не хватает.

- Ну ладно! Хочешь, выйду тебя встречать?

- Выйди.

Короткие гудки.

Полудин, то ли сопя, то ли ворча, снова оделся и оглядел комнату. Кровать расуристана, но не известно, как лучше: застелить ее или оставить готовой? Он погасил свет. Нет, так совсем темно. Зажег торшер. Свет погасить успею, пусть лучше горит, чтобы эта трусиха опять не испугалась. Усевшись в кресло, он поглядел на часы: десять минут второго. Дома они с женой ложатся не позже пол-один-

надцатого, потому что без пяти семь щелкает будильник и надо вставать. А тут - кейф!

Для храбрости он отглотнул еще водки и пожевал корочку. Глядя через щель в полутемный коридор, он ждал.

Она вошла вихляющей походкой, как сказал поэт, и, ожидая приглашения, оперлась плечом о дверной проем.

- Я пришла, - она сделала шаг вперед, к кровати, и расстегнула пуговицу на кофточке - то ли от того, что жарко, то ли хотела снять ее. - Что это ты рисуешь?

Листки с его расчетами так и лежали на полу, придавленные линейкой. Он качнулся, чуть не упал, поднял бумажки, разложил на одеяле и кратко описал ей идею нового транспортера.

- Ты гений! - она расстегнула еще одну пуговицу.

Полудин не был уверен, что она что-либо поняла, но жена ему так никогда не говорила. Насколько мог, стремительно поднялся он с кресла, взял Нину за руку и потянул к себе. Она приблизилась послушно, будто загипнотизированная. Он обхватил ее за плечи и прижал так, что захрустели кости. Защищаясь, она впиалась ногтями ему в спину.

- Сумасшедший! Гангстер! Супермен чертов! - задыхаясь, стонала она. - Дверь-то запер?

Как же он про дверь-то забыл? Полудин разжал руки и побежал к двери, по дороге больно ударившись локтем о шкаф. А вернулся - она прошмыгнула к кровати и погасила торшер. Прошелестела молния, упало на пол платье, стукнулись туфли. Он видел ее силуэт на фоне окна, слышал ее дыхание, чувствовал тепло и шел на это тепло осторожно, будто слепой.

Нина положила холодные ладони ему на уши. Оранжевые отсветы рекламы "Hotel Penza" дрожали у нее на волосах, придавая ей неземной вид. Казалось, она сама дрожит, - от любви к Полудину или от того, что в номере прохладно. Он рванулся вперед, но она юркнула под одеяло. Остались одни глаза и черные волосы, разметавшиеся на подушке. Он стал стаскивать собственную одежду, впопыхах отрывая пуговицы и думая о том, что забыл Нину сперва напоить. Ведь это принципиальная ошибка, так все говорят.

- Иди ко мне, глупыш! Иди же...

Впрочем, "глупыш" она не скажет. Позовет просто: "Иди ко мне".

Сняв часы, Полудин взглянул на них. Часы стояли, вчера утром он забыл их завести. Сколько прошло времени, пока, ожидая ее, он проиграл всю ситуацию в голове, установить невозможно. Она наверняка уже спустилась. Если спустилась...

Дверь в коридор все время была открыта. Если б Нина прошла мимо, он бы не мог не заметить. Швырнув в раковину окурок, он подошел к двери в нерешительности. Нелепое, взвешенное состояние. Планер оторвался от земли, но не попал в воздушный поток, который должен поднять его. Надо сесть на землю, пока не швырнуло.

Полудин захлопнул дверь, пнул ногой отвалившийся кусочек штукатурки и стремительно вернулся. Он еще отглотнул из бутылки и сморщился от дряни, которую называют водкой. Наверно, уже третий час. Хотелось лечь в коридоре и заснуть. Собрав остатки сил, он, качаясь, добрел до кровати.

Стащить с себя брюки он не успел. Телефон зазвонил на всю гостиницу.

Он снял трубку и ждал. Она набрала его номер и хотела, чтобы он спросил. Они молчали, дыша друг на друга по проводу. Он скрипел зубами, стоя в одной брючине.

- Ты серднишься? - наконец спросила она. - Понимаешь, духу не хватило. Скажи мне что-нибудь. Все, что хочешь, только скажи!

Надо было обматерить ее, но раздражение уже прошло.

- Спать пора, - устало и равнодушно промямлил он.

- Пора, - послушно согласилась она. - Но не хочется.

- А чего же тебе хо... - он не договорил. - Откуда ты вообще меня знаешь?

- Я? Видела тебя в "Каса маре".

Конечно, в зале "Каса маре" она видела его, раз она привезла молдавское вино! Он там был и сам мог сообразить.

- Помнишь? Ты еще сказал: "Вот это вино!"

- Ну и что? Все говорят: "Вот это вино!"

- Конечно, все. Но тогда сказал ты. Думаешь, я дура, да?

- Почему я знаю.

- Я не дура, честное слово... Просто я пошла за тобой в гостиницу. То есть не за тобой, а к себе.

- Утро скоро. Зачем звонишь?
- Не знаю. Мне не с кем поговорить. Может, придешь?
- Ну, уж нет! Хватит, поговорили! Положи трубку.
- Не желаешь говорить? Может, ты тоже подонок? Клади сам.
- Я? Да я...

Он в сердцах бросил трубку. Хмель не прошел, но принял форму озлобления. Он мужик, в конце концов. Будто он сам не может решить, как поступить, идет на поводу у сопливой девчонки, которую и видел-то пять секунд через дверную щель. И вообще, у него свой взгляд на вещи. Да если бы он всерьез захотел, он бы своего добился. Просто лень было. Ишь ты, поговорить!..

Наверно, уже три. Спать. Немедленно.

Забыться, тихо и блаженно, на удобной кровати, одному - такой кейф еще лучше.

Раздевшись и стоя босиком, он поднимал уже одеяло, чтобы забраться под него, когда опять зазвонил телефон.

Полудин твердо решил не снимать трубки, но телефон звонил, звонил, звонил, звонил. Виталий прыгнул к телефону и застонал от боли, с размаху наступив на укатившуюся водочную пробку. Стоя на одной ноге и держа другую в позе, которую йоги называют "Пальмой", он сорвал трубку с рычага и набрал первую попавшуюся цифру. Теперь он недосыгаем.

Остаток водки он допил, и его сразу вырвало. Красивый половик посреди комнаты выглядел теперь менее уютно.

Кейф успешно подходил к концу.

Полудин погасил торшер, вытянулся под одеялом, согрелся. Глаза побродили по теням на потолке. Ему захотелось вдруг позвонить жене. Поднять ее с постели заспанную, с двумя трубками бигудей сзади, закрученными так, чтобы было поудобней спать. Он скажет, что соскучился, и больше ничего. Она ответит раздраженно, что он сошел с ума, что она давно спит, но после, подумав, прибавит, чтобы он скорее приезжал.

Звонить на последние деньги он не стал: надо было оставить на еду. Сон окутывал сознание. Полудин похвалил себя за то, как правильно и решительно он поступил только что. Довольство собой и

водка сделали тело невесомым, и старший инженер заснул сном праведника.

Утром главный конструктор поморщился, слушая Полудина. Старая разработка была уже включена в план и утверждена, администрации завода была обещана премия от министерства. Да и самому Полудину, пока он излагал, идея с механической рукой уже не рисовалась такой великолепной находкой, как вчера.

- У нас не спорт, - буркнул главный, отодвигая наброски, едва заглянув в них. - Мы - химическое машиностроение.

- Все равно надо уметь прыгать, - запальчиво возразил Полудин, - а то всю жизнь не оторвешься от земли.

- Прыгать? - переспросил тот, с подозрением взглянув на командированного. - На Луне надо прыгать, там притяжение слабее. А тут бы на животе до кладбища доползти. Кстати, моя секретарша сказала, что из гостиницы звонили. Что ты им там с ковром натворил?

- С ковром?

- Ну, не с ковром, с половиком. Секретарша сказала, что ты уже отбыл. Они тебе на работу написали, не удивляйся...

И главный конструктор встал, давая понять, что время аудиенции исчерпано.

Половик в гостинице, из-за которого подняли шум, напомнил о нелепости всего остального. Командировка заканчивалась. Зачем они вызвали Полудина? Завод хотел застраховаться согласованиями и подписями, чтобы в случае просчета всю вину свалить в главке на проектировщиков. Проектировал не Полудин, а инженер Башьян, которая ушла в декрет. "Если она конструктор, так я тоже могу рожать", - сказал про нее Гурштейн из соседней группы. Расхлебывал Полудин, который видел их всех в гробу. Хорошо хоть вечер вчерашний удался на славу. В общем, если еще можно так культурно гульнуть, жизнь не так плоха, как клеветают наши враги.

Поставив ему в командировочное удостоверение отметку "Выбыл" и печать, секретарша сказала, что из Москвы звонил лично замдиректора Хануров, и она ответила, что у Полудина все в порядке. Надо было подарить ей конфетку, но карман не звенел.

Откушав дешевого пойла в заводской столовке для ИТР, он, чтобы убить время, оставшееся до поезда, отправился бродить по городу без цели.

Тусклое солнце просушило мостовые, а ноги были мокрые. Ночью отопление отключили из-за режима экономии, и ботинки не высохли. Он глядел на местных женщин, и сегодня они ему нравились меньше, чем вчера. Вчера ему казалось, что все они готовы принадлежать ему одному, а сегодня выглядели загнанными, блеклыми и чужими.

Полудин обнаружил, что стоит перед "Каса маре". Так молдаване называют комнату, в которой принимают гостей. Дегустационный зал молдавских вин открылся в Пензе недавно (смелая акция обкома по пропаганде дружбы народов с учетом алкоголической их любознательности). Заводские завсегдатаи третьего дня приводили Полудина в подвал на опохмелку. Сделали они это за свой счет в надежде на ответное гостеприимство в Москве.

Смуглые девочки в национальных костюмах подавали на подносах каждому по несколько рюмок сразу. В них светились марочные вина. Под питье из репродукторов доносилась лекция о советских винах, которые лучшие в мире. Потом давали попробовать. Букет, аромат, вкус... Но это были уже вина, для внутреннего потребления за рубли, и с лучшими в мире они имели лишь территориальную близость. Впрочем, командированный не огорчился: сам он отличал лишь белые от красных и сухие от крепленых, а предпочитал всем прочим сортам тот, которого на ту же сумму наливают больше.

Очереди в подвальчик в это время еще не было, так как вином торговать до двух запрещено и трудящиеся дегустировали только соки, сильно разбавленные водой. Но и продавали бы - денег на вино у Полудина все равно не имелось, так что запрет в данный момент его лично не огорчил. Постояв перед "Каса маре", он побрел по улице дальше. Голова болела, желудок ныл, подташнивало, но в целом все было хорошо.

Ночной эпизод, когда он припоминал теперь детали, казался ему состоявшимся в его пользу. Будет о чем со вкусом рассказать узкому кругу курильщиков в конце коридора. Основную сцену Полудин тут же решил перенести на балкон своего номера, где они с хулиганкой Ниной делали это посреди ночи на виду всего города. По

пьяной даже холода не чувствовали. Он ей рот рукой закрывал, чтобы она от кейфа не кричала. Остальные подробности, решил он, придут по ходу дела. Говорят, правда, что зам по кадрам и режиму уже велел установить в курилке микрофончик. Но, во-первых, за разговоры о бабах вроде пока не сажают, а во-вторых, небось, слух насчет микрофончика специально распустили, чтобы меньше курили и больше работали.

Полудин замедлил шаги. Он решил вернуться, спуститься в подвальчик "Каса маре" и гордо попрощаться. Нина ведь там, где же ей еще быть? Решив, он бросил окурочек на тротуар, растер его мокрой ногой, плюнул и зашагал к вокзалу. Вместо "Каса маре" ему захотелось домой, на кухню. Жена, соскучившись, отпросится с работы, все быстро подаст, чтобы ему не пришлось тянуться ни за вилкой, ни за чашкой. Она - свой парень. Сядет напротив, коротко сообщит, с кем вчера подрался сын в детском саду, и замолчит - вся внимание.

Он, не торопясь, поест, закурит и будет ей подробно втолковывать про успешное согласование проекта, которое он героически вынес на своих плечах, расхлебывая грехи всего отдела. Про свою колоссальную идею с механической рукой, до которой нынешнему уровню технического прогресса еще подниматься и расти. Не забудет он про гниду Ханурова, который буквально берет за горло. Про то, как его чествовали в дурацком "Каса маре" за их счет, как уложился в командировочные, не заняв ни рубля, и про то, что в Пензе со жратвой еще хуже, чем у нас, и куда это катится, непонятно.

Он расскажет ей все.

Все?

Почти все.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

1.

Директор школы Гуров не знал, как поступить.

Прямого указания сверху не поступило, сказали, мол разберитесь сами, но так, чтобы до конца учебного года вопрос был решен правильно. Гуров уж и в райком ездил, дескать, намекните, как будет правильно? Там отвечали: вам же сказали, решите самостоятельно. Вот и действуйте. Ошибетесь - тогда и будем поправлять. Легко сказать! Если ошибешься, уже ничего не докажешь, и никто старых заслуг не вспомнит. Вот почему Гуров откладывал. Учебный год между тем спешил к концу, откладывать некуда.

Месяц назад в школу нагрянули одна за другой три комиссии из разных инстанций. Перекопали до дна, а причину тщательно скрывали. Гуров грыжей чувствовал: что-то идеологическое. Но что именно,

не мог выяснить, несмотря на все связи. Ничего страшного, видимо, не раскопали, иначе бы не перепоручали. Одновременно раскрутили бы дело на полную катушку и сделали оргвыводы. А тут почти утихло. Дела в школе обстояли не хуже, чем в других, в чем-то даже и лучше. Учительскую перестало лихорадить, все вошло в свою колею. И вдруг...

- Ну, рады за тебя, - поздравил Гурова завотделом школ в райкоме, - что телега не подтвердилась.

- Телега? - его словно током ударило.

- Ты будто с луны свалился. Да анонимка, из-за которой весь сыр-бор. Учитель-то географии Комарик расхваливал на уроке американский империализм.

- Что? - Гуров поперхнулся и закашлялся, не мог остановиться.

- Не заходишь... Возможно, оговорился. Учитель старый, уважаемый. А насчет того, что политики у него на уроках, будем говорить, недостаточно, факт, к сожалению, установленный. Дыма без огня не бывает. Там, где не все пронизано идеологией, остаются щели. Вот в щель и подуло. Кстати, сколько ему?

- Шестьдесят один.

- Шестьдесят один плюс беспартийный. Надо тебе этот вопрос подработать. Зря что ли комиссии трудились? Хотя, конечно, учитель известный на всю Москву, разговоры пойдут, дескать, не бережете кадры.

- Дак как же быть-то?

- Придумай.

По дороге домой Гуров, обиженно надувая губы, вспомнил, как Пал Палыч Комарик вылез недавно на педсовете с неуместным замечанием. Гуров ввел еженедельное тридцатиминутное чтение вслух газеты "Правда" для всей школы, а Комарику показалось, что для младших классов это, видите ли, рановато, и тяжело, мол, им стоять навытяжку, без движения.

- От жизни отстаешь, Палыч! Они ведь будущие защитники родины, - пристыдил его тогда Гуров, не придав значения недовольству Комарика, а оказалось, зря не придал.

Хотел Гуров посоветоваться с учителями, которым доверял, но боялся, что раньше времени слухи по школе поползут. Поэтому делиться ни с кем не стал, кроме завуча, да и то под большим сек-

ретом. Сказал ей только для того, чтобы отыскать автора анонимки (а то завтра на меня напишут!). Но она не смогла догадаться, кто.

Мучился Гуров недолго: когда указание поступило, надо выполнять немедленно. И уж после думай, сколько влезет. Учителей Гуров, конечно, собрал, дал указание предметникам уделять больше внимания линии партии и нашим успехам. А с Комариком он придумал прямо-таки гениальный ход, чтобы все были довольны.

- Пал Палыч, - он распахнул дверь учительской. - Тебе не трудно зайти ко мне?

И скорей вышел, вздохнув. Убирают-то не за старость, а за политику, - тут уж мораль не при чем. Нечего распускать интеллигентские сопли. Черт дернул Комарика жалобу на себя спровоцировать. Учебное заведение все-таки - язык за зубами надо держать. С другой стороны, Гурова поставили в эту школу не так давно и скоро возьмут в министерство. Как бы учителя не приняли шаг нового директора за желание выслужиться или бюрократизм. И без того зовут за глаза полковником.

Гурова действительно бросили на укрепление фронта просвещения после отставки из армии, но он всегда старался избегать муштры и по возможности разрешал другим вести себя, так сказать, не по уставу. Да все имеет пределы. Что делать, если учитель не справляется с высокой миссией? Устранить человека с почетом - это не Гуров придумал. Так и на самом верху принято делать.

Тем временем Пал Палыч, отложив все дела, с готовностью захлестнул и прислонил к стенке потертый портфель с поломанным запором. Он прошелестел по коридору, откашлялся, предвидя разговор, открыл директорскую дверь и остановился посреди кабинета с непременно портретом того, кого надо. Старик помнил, что в этом старом, начала века, здании гимназии, в том же директорском кабинете, на той же стене одно время висел Хрущев, а до него Сталин, до Сталина, говорили, Троцкий, а до Троцкого Николай-последний. Портреты Сталина и Хрущева (куда их было девать?) и сейчас стоят в пыли за шкафом, Гуров, небось, и не знает.

Директор поднялся и, задев живогом угол стола, двинулся к учителю. В принципе все уже решив, он опять заколебался: что если решение преждевременно? Но защищать старика нельзя. Если защищаешь - ты с ним заодно. И Гуров не смалодушничал, не отступил.

- Любезный Пал Палыч! - он взял старик за локоть. - Говорят, якобы, анонимка тебя обидела. Пустяки. В чем там дело-то?

- Дело серьезное, не пустяки, - Пал Палыч вытащил из кармана малюсенькую щеточку и пригладил седые усики, делавшие его похожим на благородного иностранца. - Я этот пример лет тридцать привожу, когда проходим Голландию. Но до сих пор анонимок не поступало.

- Хоть что за пример?

- Немцы в войну из других стран вывозили ценности, специалистов. Из Голландии же везли в вагонах землю. Вот какие были умные фашисты.

- В каком смысле? - осторожно спросил Гуров.

- В таком, что земля голландская так ухожена, дает такие урожаи фруктов и овощей, что они даже больше, чем в американском штате Калифорния.

- Да при чем тут Калифорния?

- Мне уже Марина Яковлевна говорила: "На кой вам Калифорния?! Сравнил бы лучше с Кубанью, что ли..." Хорошо, на будущий год сравню с Кубанью.

Черт дернул старика трепаться по эту Калифорнию. А насчет умных фашистов - это ни в какие ворота не лезет! Промолчал бы, никто б его не трогал. Теперь заработала машина, и в результате все ангелы, а Гуров - Змей-горыныч.

- Пал Палыч, - Гуров взял быка за рога, - я слышал, ты на пенсию собираешься. Нехорошо скрывать от нас, нехорошо. Все-таки мы - твоя вторая семья. У коллектива встречное предложение: не просто тебя проводить, а торжественно, пригласить общественность на последний урок...

Сказав, Гуров ощутил неловкость. Какая вторая семья, когда семьи у Комарика никогда не было. Еще подумает, что намекнул на давнишний флирт с завучем Мариной Яковлевной.

Пал Палыч не знал, что собрался на пенсию. Пожевал губами и произнес что-то вроде "м-м-м". Растерялся, но возражать администрации ему в жизни не довелось. Возражал он после, про себя, когда шел домой.

Слякотно было, как осенью, а ведь шло начало мая. Асфальт на тротуаре местами провалился, лужи, рыжие от глины, отражали за-

боры и прохожих. Сырость пробиралась внутрь, портфель тянул руку, хотя был почти пустым. Все, что могло понадобиться на уроках, лежало в голове. От кого же он слышал, полковник, что я собрался на пенсию? Может, из роно указание? Стало быть, пора меня, гнилого мерина, гнать.

2.

В середине мая потеплело. Пал Палыч открыл окно. Вечером дворовая ребятня разбрелась по домам, стало тихо. Он сидел за столом, покрытым желтой в цветах клеенкой. Это был и обеденный, и письменный стол: демаркационная линия проходила точно посередине.

На письменной стороне стоял глобус, похожий на дыню. Голубые океаны выгорели, стали желтыми пятнами. В войну, когда не осталось пособий, дети скатали из глины шар, облепили бумагой в несколько слоев, разрезали, нутро вынули, оболочку склеили и надели на проволоку. Хрустя и пошатываясь, земной шар завертелся. На нем осталось множество ошибок: Африка налезала на Европу, Азия сплющилась, обе Америки перекосило. И глобус, и сам земной шар уйдут на пенсию за ненадобностью. Со временем, со временем, конечно, а пока... Может, пожаловаться кому? Да кто теперь на жалобы внимание обращает? И правы они: мало у меня идеологии, а география нынче никому не нужна, главное - знать указания, они вполне знания заменяют.

После того разговора, встретив в коридоре во время перемены полковника, он попросил только: не надо торжества. Тихо подам заявление, и все тут. Зачем будоражить школу, тратить время без того забеганных учителей на сугубо личное дело?

- Одобряю и ценю твою скромность, Пал Палыч, - сказал Гуров. - Но дело это вовсе даже не личное. Ты ведь старейший учитель в районе. К учителям, сам знаешь, отношение у общественности особое. И потом, не могу же я отказать людям, если они последний раз хотят посидеть у тебя на уроке. Да и в роно уже знают.

Стало быть, указание не из роно. Инициатива снизу, полковник сам решил.

Жизненный ритм Пал Палыча с того дня нарушился. По ночам старик ворочался, мысли теснились в голове, налезая одна на другую.

Вот и опять, встав из-за стола, старик протопал по комнате к тумбочке. Вытащив пачку фотографий, развязал тесьму Какой же это год? Где-то в конце войны. Учительница ботаники, Марина Яковлевна, красивая и белолицая, как Божья мать...

Жила она тогда в школе, вход сбоку, с пристройки. Отец ее был директором. Спустя год после войны Пал Палыча вызывали. Спрашивали, не искажает ли педагогической линии директор школы, отец Марины Яковлевны, который, как выяснили, недавно взял у знакомого книгу немецкого педагога на немецком языке. Директор никакой линии не искажал, но Комарик как человек честный и недавний фронтовик, прежде чем сказать, задумался, и получилось, что ответил он как-то нетвердо. Директора все равно забрали, и не потому, что не был тверд Пал Палыч. Но простить себе той медлительности он не мог и казнил себя, что не пошел просить за него, не написал.

Все это Комарик изложил Марине Яковлевне, считая, что скрывать нечестно. Она поняла его задумчивость как трусость и сказала все, что о нем думает, с горячностью, свойственной молодости. Позже она его, конечно, простила, но время ушло. За время это Пал Палыч женился на другой учительнице, у которой вскоре внезапно проявилась болезнь, сведшая ее через несколько лет в могилу. Марина Яковлевна тоже вышла замуж. Пал Палыч на других женщинах не останавливался, не получалось. Он один растил дочь, а когда та вышла замуж и уехала от него, довольно быстро постарел и стал жалок.

Оставив на столе фотографию, Пал Палыч покрутил глобус. Он признался себе, что было бы приятно, если бы кто-нибудь из его бывших учеников появился завтра на уроке. Но он был не до конца откровенен с собой. Он подумал об учениках только для того, чтобы сосредоточиться на одном-единственном - Толике.

Пал Палыч снова присел и, подняв очки, поднес к глазам фотографию. Вот этот, третий справа, стриженный наголо, как требовали в то время в мужской школе. Сколько раз Комарик, между прочим, упоминал его на педсоветах и районных конференциях и делал это не корысти ради. Ему лично ничего не надо. Хочется только пользы делу.

По настоянию учителя географии портрет академика Анатолия Михайловича Дорофеенко в черном костюме, с лауреатскими знаками, поместили в раме, под стеклом, в коридоре старших классов. Там как раз освободился гвоздь, который держал академика Лысенко.

Дорофеенко висел скромно, в одном ряду с Дарвином, Ломоносовым, Менделеевым и Мичуриным, как и они, без всяких подписей, что особо подчеркивало его известность.

Учитель при случае укорял ребят академиком, который, де, учился по всем предметам блестяще. Толик был не столько способный, сколько деятельный по комсомольской линии. Учился средне, но везде проникал - тоже способность. Да и кто посмеет упрекнуть Пал Пальча в том, что он подкрашивал действительность? Возможно, в этом особом случае цель и в самом деле оправдывала средства.

Временами старику казалось, что Дорофеенко вообще не существует. Нет его. Муляж, наглядное пособие. Но легенда о знаменитом ученике то и дело подкреплялась документами. Дети приносили вырезки из газет: статьи с перечислением под фамилией всех титулов и званий, интервью о том, куда и как надо двигать географию в свете последних указаний и чем советская география коренным образом отличается от буржуазной.

Дважды школьники писали академику коллективные письма от имени и по поручению. Учитель вместе с ними подписывал их. Ответы оба раза приходили не скоро, но приходили напечатанными на машинке за подписью его секретарши. Дорофеенко, говорилось там, желает всем больших успехов в учебе и труде. В одном из писем имелась даже приписка от руки: "Особый привет географу Павлу Павловичу Комарику". Лучшие чтецы с выражением читали письмо во всех классах.

В общем, пояись Толик на последнем уроке, для авторитета школы и в районе, и в городе это было бы крайне полезно. Ну и полковник пожалеет, что отправил на пенсию учителя, ученики которого прославляют школу на всю страну.

Намотав на палец длинную цепь, Пал Пальч вытянул из кармана тяжелые серебряные часы фабрики Павла Буре. Это была его тайная фамильная гордость, единственная уцелевшая: память о предках, имевших под Москвой хиленькое именьеце, в революцию сожженное просто так, ради красного петуха. Продолжая глядеть на циферблат, старик пошел в коридор. Туда сходились еще три двери, составляя коммуналку с общим телефоном на стене и карандашом на веревочке.

3.

Анатолия Михалыча нередко будили из Москвы, а то, случалось, звонили из Парижа или Рима. Он поехал, нащупал у лампы кнопку, зажмурившись от яркого света, похлопал ладонью по журнальному столику, ища очки, и дотянулся до телефона.

- Дорофеенко Москва вызывает, - металлическим голосом сообщила телефонистка. - Москва на проводе.

- Давайте.

Дорофеенко устало зевнул. Из трубки донеслось мычание.

- Слушаю, хэллоу. Кто это?

- Толик... м-м-м... Толик...

Он опять зевнул.

Мало людей называли его, поседевшего, степенного человека, Толиком. И он без труда различал их. Но тут не смог.

- Толик, это Пал Палыч...

- Пал Степаныч? Здравствуй, батенька. Что же монографию задерживаешь? Рассержусь!

- Нет, Толик, это Пал Палыч, учитель географии из твоей... из вашей школы...

- Пал Палыч? Ну как же, как же, помню. Чем могу служить?

- Вы, м-м-м... извините меня, голубчик, что беспокою. Я помню, у вас поясное время.

- У вас тоже поясное время. И у всех поясное...

- Я хотел сказать, у вас поздно. Может, разбудил?

- Пустяк! А в чем дело?

- Что?

- Пустяк, говорю.

- Нет, не пустяк. Разница во времени три часа. Но у меня завтра последний урок... м-м-м... в моей жизни. Меня... я на пенсию...

- Поздравляю с заслуженным отдыхом. Помню, как вы беспощадно тройки мне вкатывали. За дело, ничего не скажешь, за дело...

Несколько искусственно хохотнув, Дорофеенко поднялся, одной рукой накинул халат. Ему ежедневно приходилось общаться со множеством людей, и по первым вежливым фразам он умел угадать, что человеку нужно. Это помогало сэкономить время. А тут, наверное со сна, не мог он усечь, зачем позвонил учитель.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

- Все знают, Толя, что вы мой самый талантливый ученик...

- Полноте!

- Прости старика, говорят, ты чуть не каждый день в Москве... А завтра? То есть, там у вас, в Новосибирске, сегодня?..

- В Москву?.. Я там должен быть в четверг на президиуме, потом останусь гастроли французов поглядеть. Утром, стало быть, среда?..

- Прилетай на день раньше, загляни в родную школу. Вроде как торжество...

- Торжество, говоришь?..

- Может, с билетом сложно?

- Чепуха! Когда урок-то?

- В тринадцать десять по-московскому. В школе тебя очень любят, Толя.

- Точно обещать не могу, попробую... Кабы, батенька, заранее... Я ведь себе не принадлежу.

- Для всей школы твой приезд будет праздником!

- Ну, уговорил, Пал Палыч, уломал, будь по-твоему, - Дорофееenko и не заметил, как соскользнул на привычное административное "ты".

- Закончили разговор? - спросила телефонистка. - Разъединяю.

Он сбросил халат, лег на спину. Жена делала вид, что не просыпалась. Дорофееenko медленно снял очки и очутился в той проекции, о которой совершенно забыл. Старый московский переулок, школа, парадная с оторванной дверью, война... Небось, все поносили, а школа стоит. Да, утренним рейсом он вполне успеет. Встретят, как положено. Пионеры будут салют отдавать, подарят цветы, которые никогда не знаешь, куда сунуть, и все прочее. Сколько раз принимал он подобные почести в других местах, - везде одно и то же.

Пал Палыч казался немолодым, когда Дорофееenko еще учился. Сколько ему нынче? Почему я пошел в данную отрасль - благодаря ему или вопреки? Или он просто не при чем? Вот выйду на пенсию - обдумаю этот вопрос в мемуарах. Последний урок... А ведь, с другой стороны, и у меня тоже это будет: последний труд, последнее выступление по телевидению, последний международный конгресс, последний путь... Как говорится, за себя написать ничего не успел: сперва писал за других, а теперь другие за меня.

Руки Дорофееenko лежали скрещенными на груди, и он снял их. Как сказал однажды Лев Толстой, не спрашивай, зачем жить, спра-

шивай, что мне делать. Неплохо бы уважить старика. Нужно всегда оставаться людьми, в любом ранге, да мешает суета. Мы - жертвы. Наука поглощает нас целиком. Завтра бюро обкома - обойдутся, как бы только Темякин не перебежал дорогу с поездкой в Испанию. Прием англичан - это перепоручу. Что еще важное?

- Полетишь, Толь? - рассеянно спросила жена, привыкшая к непрерывным его вояжам.

- Знаешь ведь...

Он не договорил и погасил лампу.

4.

С утра Пал Палыч сходил в прачечную, взял накрахмаленную рубашку, которую не любил, потому что она натирала шею. Он заварил и выпил крепкого чая, как всегда, с кусочком сыра без хлеба. Взял под мышку портфель, дошел до двери и вернулся. Положил портфель на место, на табуретку возле стола, и отправился просто так.

В школе мирно текли уроки. Коридоры пустовали. Гулко отдавались шаги, да уборщица тетя Настя брякала ведром. Из-за дверей доносились знакомые голоса учителей.

- Пал Палыч, миленький, где же вы? - пропела завуч, выкатившись ему навстречу и артистически всплеснув руками. - Полковник волнуется, скорей к нему!

Какая Маринна Яковлевна сегодня нарядная. Она счастлива, чего там, только прикидывается грустной. Муж - начальник цеха на заводе, почтовом ящике, троих детей нарожала - редкость по нашим временам, дело любит.

Комарик зашел в кабинет директора, пожевал губами и пробурчал:

- М-м-м... Приедет, весьма возможно, Дорофеенко...

- Ого! - удивился Гуров и встал. - Ай да Палыч! Как говорится, комментарии излишни.

Было от чего ахнуть Гурову: лауреат, член ЦК, президент какой-то международной ассоциации борьбы за мир, почетный член нескольких академий Европы нынче собственной персоной будет в школе. Старик врезал в яблочко. Конечно, академика надо встретить, как положено. Для коллектива огромный положительно воздействующий фактор!

Директор приложил кулак ко рту, посмотрел на учителя и вдруг пожалел, что плохо о нем думал.

- Обрадовал ты нас сообщением, Палыч, - сказал он. - Очень обрадовал. Иди, спокойно готовься к уроку, мы сами все организуем. Единственная просьба: не забывай про высокий идейный уровень. Не надо нам Голландии и уж тем более Калифорнии, сам понимаешь. Дави больше на наши достижения, на патриотизм... Да, попроси ко мне завуча.

Когда дверь за учителем закрылась, Гуров открыл сейф. В нем стояло несколько бутылок коньяку и коробка конфет для почетных гостей: событие придется, как положено, завершить в кабинете. Директор вытащил початую бутылку коньяку, плеснул в стакан небольшую дозу, проглотил, чмокнул, закусил шоколадной конфеткой, запер сейф и снял трубку. Он набрал номер, соединился со знакомым в "Вечерке" и сообщил суть дела.

- Оценил? Тогда быстрее присылай сотрудника, можно и фото-корреспондента.

Вбежала, запыхавшись, Марина Яковлевна.

- Куда вы все запропалились? - спросил директор. - Лозунг готов?

- Всё-всё нормальненько.

- Текст?

- Очень сердечный, как вы велели. Написали: "Прощайте, дорогой учитель, Павел Павлович!"

Гуров поморщился.

- Что-нибудь не так? - встревожилась Марина Яковлевна.

Директор потер пальцами, словно ощупывая лозунг.

- У-у-у, вас могут неправильно понять, не чувствуете? Срочно снимите с урока десятиклассников, пускай перепишут: не прощайте, а - до свидания. И потом это... дорогой учитель... Знаете, кто у нас учитель? А вы Пал Палыча так называете. За это опять нагоняй. Нет уж, с меня хватит. Значит так: "До свидания, Павел Павлович". Ну, можно еще восклицательный знак. И всё!

Кивнув, Марина Яковлевна побежала было обратно. Полковник прав, глупо написали. Как она сама не сообразила?

- Кстати, - окликнул директор, предварительно окатав глазами ее обтекаемый задик. - А что с цветами?

- Деньги собрали. Букет с рынка ребята уже притащили. Не очень эффектный, ну уж какой добыли...

- Попрошу вас, - Гуров сделал паузу. - Букет для вручения разделить, сделать два.

- Два?!

- Два. Приедет академик Дорофеевко.

- Боже мой!

- Поменьше эмоций, побольше дела. Найдите старшую вожатую. Пусть подготовит пионеров для встречи, как положено. Все - белый верх, темный низ и при галстуках. Горниста и знамени, я думаю, не надо, не тот случай. Вызовите секретаря комсомольской организации. Надо оповестить комсомольцев, чтобы у всех были на груди значки. Проследите лично.

Порозовев от волнения, Марина Яковлевна хотела что-то спросить, но Гуров жестом дал понять, что разговоры неуместны. Он проверил, закрыт ли сейф, запер кабинет и награвился в учительскую.

Народу там набилось битком, и гул стоял ничуть не меньше, чем в коридорах на перемене. Учительницы начальных классов детей отпустили и явились как одна. Предметники, даже те, кто хотел увильнуть (и без того дел полно), или те, кто, вслух не высказываясь, отрицательно отнеслись к уроку (это панихида какая-то), все же, боясь гнева полковника, заглянули в учительскую. Свои и гости гнездились кучками. Инструктор из райкома стоял особняком с выражением большой ответственности на молодежном, но заплывшем от недостатка двигательной активности лице.

Чужие шепотом спрашивали своих, где академик, а те пожимали плечами. Корреспондент из "Вечерки" рассказывал заведующему роно, как несколько лет назад проскочила ошибка. Вместо слов "пионер космоса" в газете чуть не напечатали "старпер космоса" - наборщик пошутил.

- Небось, снизили бы вам дисциплину, - пошутил, в свою очередь, завроно.

- Редактора бы снизили, - мрачно сказал корреспондент. - Между прочим, почему у вашего учителя такая фамилия?

- Он по паспорту чистый, - быстро ответил завроно.

- Читателям его паспорт не виден. Мне-то все едино, но редактор закривляется.

Вновь вошедшие подходили к Пал Палычу, который старался держаться в стороне. Жали руку, хлопали по плечу, желали успеха в личной жизни. Он всем кивал и виновато улыбался, обалделый от почестей.

- Стулья в класс затащили? - крикнул кто-то.

- Отнесли, отнесли...

Гуров, сжимая в ладони связку ключей, стоял в дверях, одной ногой в учительской, другой в коридоре, чтобы быть в курсе всего происходящего.

Ровно в тринадцать десять уборщица тетя Настя в надетом поверх зеленого цветастого платья синем мужском пиджаке с медалью за победу над Японией вытерла подолом руки и с неизвестно откуда взявшейся военной выправкой, печатая шаг, подошла к выключателю звонка.

- Подожди, - остановил ее директор. - Я скажу, когда начать.

- Дык время же!

- Время подождет.

Он наклонился к завучу:

- Пионеры у входа выставлены?

Марина Яковлевна испуганно развела руки:

- Все нормальненько!

- М-да-а...

- Класс на взводе, Пал Палыч тоже не железный, - тихо пропела она. - Может, отложим урок, то есть перенесем?

- Скажете тоже! - Гуров поморщился, оглядел учительскую и приглушил голос. - Тут люди из райкома, из роно, из других школ... Ладно! То, что Дорофееenko опаздывает, в целом еще лучше. Он войдет в сопровождении пионерского строя прямо во время урока - улавливаете мою мысль? - и это будет прекрасный воспитательный момент: встреча учителя и ученика на глазах детей и общественности. Возвращение блудного сына. Это юмор, конечно, вы поняли? В общем, мы начнем! Вас я прошу остаться у входа и лично следить за встречей академика...

- Остаться? - Марина Яковлевна всплеснула руками, и глаза у нее поглупели. - А урок?

- Ну, не имеем мы права ставить личные желания выше долга. Тетя Настя, давай!

- Звони, Настя, звони! Что ты по сторонам зеваешь? - приструнила ее Марина Яковлевна.

Директор повернулся ко всем.

- Прошу, товарищи!.. Пал Палыч, дорогой, ты готов? Тогда вперед иди, вперед!..

- Почетный-то гость ваш где же? - спросил корреспондент.

- Не волнуйтесь, - успокоил Гуров. - Всему свое время.

Настя по привычке вытерла ладони о платье и подняла руку, будто давала команду "Огонь!" орудийному расчету. Щелкнул выключатель, но звонка не последовало.

- Опять заел, проклятый!

Она стала дергать его из стороны в сторону, стучать кулаком по боку.

Учительская заулыбалась.

- Не хочет школа спешить с твоим уроком, а, Палыч? - сказал завроно.

Наконец, Настя хитро шлепнула ладонью по выключателю снизу вверх, и звонок вякнул, а потом зазвонил, оглушая всех.

Комарик в коричневом костюме, отдававшем нафталином, неуверенной походкой двинулся из учительской, неся в руках указку - не как пику, как тросточку. Марина Яковлевна пожала ему локоть и прошла с ним несколько шагов. Он рассеянно кивнул ей. По только что вымытому Настей коридору, где рядом с Дарвином, Ломоносовым, Менделеевым и Мичуриным висело строгое лицо академика Дорофеенко, в направлении к девятому "б" за учителем потянулась процессия.

У двери старик остановился, пропуская общественность. Класс, переутомившийся от ожидания, загрохал партами и потянул шеи навстречу входящим. Ученики с ехидцей смотрели, как гости, толкаясь, усаживаются. Завроно грузно втиснулся за парту рядом с корреспондентом. Принесенных стульев не хватило, и ученики сами начали вставать с последних парт и подсаживаться третьими вперед.

Когда Комарик вошел, в глаза ему бросилось красное полотнище, на котором было написано белыми буквами: "До свидания, Павел Павлович!"

- Здравствуйте, - хрипло сказал он.

Засмеялись каламбуру, захолопали.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

Отличница Сарычева, с комсомольским значком на недетской груди, подняла руку и, не ожидая разрешения, спросила:

- Пал Палыч, а правда, что придет Дорофеенко?

Она хотела угодить, но Комарик пробурчал невнятно, сел за стол и уткнулся в журнал. Сарычева повела плечами и оглянулась на директора. Тот, покачав головой, приложил палец ко рту.

В горле у Пал Палыча першило, от напряжения слезились глаза. Опасение сказать что-нибудь идеологически неверное сверлило сознание. Как назло, заболел зуб, который давно надо было удалить. Учитель все время поправлял очки, они мешали, больно давили на переносицу. Радуются, что ухожу, вдруг мелькнуло у него. И никак не мог отогнать эту мысль, хотя в нее не верил. С трудом он отметил, кого нет, оглянувшись, на месте ли политическая карата мира. Хорошо, хоть она висела на месте. На "камчатке" все еще не расселись гости.

Комарик не знал, как должен проходить торжественный урок. Все эти дни думал, что скажет ученикам о себе и о жизни. Но уместно ли теперь, в присутствии официальных лиц, которым известно об анонимке, на уроке географии говорить о жизни вообще? Не прозвучит ли это опять аполитично?

Он приступил, как обычно, к опросу. Двоечников опрашивать было неуместно, отличников - в его положении стыдно. Он стал вызывать средних. Средние отвечали средне, даже хуже, чем обычно, испуганные своей исторической миссией. Оглядывая класс, учитель не мог себе простить, что сболтнул полковнику о Толике. Распустил юни на старости лет. Приехал бы тот - хорошо, а нет - никто бы не узнал.

Гости шепотом переговаривались о всякой всячине, не имеющей к уроку отношения. Ребята оглядывались на дверь, ожидая явления академика. Сидя за партой с долговязым двоечником, Гуров следил за стрелкой часов и осторожно поглядывал то на заврону, то на инструктора райкома. Те были непроницаемы.

Поначалу Гуров ждал, что с минуты на минуту дверь откроется и академик Дорофеенко, побрякивая лауреатскими медалями, прошествует в класс в сопровождении эскорта пионеров. Это будет кульминационным моментом урока. Если Комарик не сообразит вызвать знаменитого ученика к доске, можно будет тактично подсказать. Такое в "Вечерке" прозвучит неплохо. Но вот уже скоро пол-урока. До-

рофеенко не появился и не появится, иллюзии ни к чему. Небось, Комарик просто свистнул, рассчитывая на поддержку, чтобы на пенсию не уходить.

Пал Палыч подошел к карте и начал говорить, водя указкой. Он умел интересно рассказывать. Но сейчас директор, слушая его вполуха, наблюдал за классом. Не слушают. Думают о своем, зевают, записочки передают, хихикают. Для них это важное мероприятие на другой волне. Нет, старость понять и уважить можем только мы, взрослые. Не слишком ли жестоко поступает школа? Но ведь так устроен мир. Мне велели только нажать кнопку. Даже с точки зрения общечеловеческой морали, хотя она нам и не указ, иного выхода не дано. Молодежь подпирает и выталкивает стариков. Замена у меня на примете подходящая: географичка молодая, вроде неглупая, русская, партийная. И даже симпатичная внешне. Есть на что глаз положить, и не только глаз.

Комарик вдруг замолк. Спазм сдавил горло. Слова запрыгали, заметались, заклокотали, бессильные сорваться с языка. Страх сказать не то давил на него всю жизнь, урезал его ум, обкарнал знания. Он чувствовал, что превратился в ничтожество, но что он мог поделать, как мог иначе жить? Наступила неловкая тишина. Глотнул, начал фразу, снова глотнул. Гулов поднял бровь, подумал было: вот и забывать стал старик, склероз. Наконец, Пал Палыч совладал с собой, откашлялся, заговорил.

Внутренние часы его сработали: едва он произнес последнее слово, зазвенел звонок. Отличница Сарычева вытянула из-под парты букет цветов в целлофане и, поправляя совсем короткое, детское платье, поднесла учителю. Второй букет остался остался у нее под партией.

Класс задвигался, загалдел. Все смешалось: хозяйева, гости, толпящиеся у дверей ученики второй смены, прослышавшие о том, что приехал живой академик, который висит в коридоре.

- Пал Палыч - пал, - сострил завроно на ухо корреспонденту. - Ну, как урок? Понравился?

- Неплохо, - похвалил корреспондент и глянул на часы.

Он думал о том, что потратил два часа, а без академика не дадут на полосе больше десяти строк - копеечный гонорар. Хорошо еще, фотарь зря не таскался.

Инструктор райкома наклонился к заврону:

- Академик-то ваш, того, зажилел. Когда у нас на учете состо-
ял, на цыпочках в райком бегал. Между нами говоря, лауреатские
свои бляшки он получал знаете за что? За расшифровку фотографий
со спутников-шпионов. Его в загранку одного не выпускают, опасно. А
дачку себе не в Новосибирске, а под Москвой отгрохал - у нашего
секретаря райкома, и то победней...

Стоя в окружении долговязых детей, счастливых уже от того, что
можно орать, старик беспокоился о Толике. Не мог же тот просто за-
быть. Обещал ведь, значит, что-то помешало. Скучно прошел урок, се-
ро. Виноват я сам, не оправдал того, чего от меня ждали. И Гуров
будет ворчать: про идейный-то уровень я забыл. Надо было вставить
что-нибудь актуальное.

- Пал Палыч, миленький! - вбежала в класс Марина Яковлевна. -
Мне полковник, то есть директор, давал порученьице, но я весь урок
мысленно была с вами.

Она посмотрела в бегающие, слезящиеся глаза старика, хотела
его обнять, но в присутствии директора постеснялась.

- Знаете, почему Дорофеенко не успел? - найдясь, обратился Пал
Палыч к директору. - Погода в Сибири нелетная. Я утром прогноз
краем уха слышал. Думал не коснется, а там пурга. Когда пурга,
то...

Уборщица Настя, запыхавшись, вбежала в класс, мигом отыскала
глазами Гурова, вынула из кармана пиджака бумагу, обтерла об
живот и протянула.

- Не время сейчас, - отмахнулся Гуров. - Видишь же!

- Дык, молния, - объяснила Настя. - Уж я бегла, бегла, думала,
никак запозднею.

Гуров надорвал телеграмму, пробежал взглядом и крикнул:

- Товарищи! Не расходитесь! Телеграмма-молния, оглашаю...

Все приостановились, затихли. Несколько учеников влезли ногами
на парты. Кто-то хлопнул крышкой - на него цыкнули.

- Читаю, - театрально произнес Гуров. - "Приношу искренние изви-
нения связи невозможностью прибыть торжество. Точка. Задержан
важным государственным делом. Точка. Сердечно поздравляю кол-
лектив учителей, запятая, учащихся, запятая, крепко жму руку и

обнимаю Павла Павловича Комарика. Точка. Подпись: верный его ученик - академик Дорофеенко".

Зааплодировали. Гуров протянул телеграмму, старик взял ее двумя руками, как хлеб-соль, и поклонился. Он смотрел в нее, но строчки прыгали и прочесть ничего не удавалось.

- Радость-то! - громко воскликнула Марина Яковлевна. - Радость какая!

- Есть мнение, - сказал директор, забирая телеграмму из рук Пал палыча, - зачитать телеграмму во всех классах на торжественных линейках.

- Может, не надо? - тихо сказала завуч ему на ухо.

- То есть как?! - Гуров в недоумении посмотрел на нее.

Она опять наклонилась к его уху, прошептала:

- Я сама ее послала.

- Из Новосибирска?

- Дочка телеграфистки в моем классе. Я сбегала на почту, попросила, и все нормальненько...

- М-да! - Гуров почесал затылок.

Выходя из класса, он решил после попросить Марину Яковлевну, раз уж она такая умелая женщина, осторожно поговорить с учителями, которым она доверяет, чтобы подсказали, кто же в коллективе или, может, из родителей, строчит телеги в райком.

Директор забежал вперед и объявил идущим по коридору к выходу:

- Высоких гостей прошу ко мне: краткое совещание по итогам урока.

И поспешил в кабинет откупоривать бутылки.

Второй букет, оказавшийся ненужным, длинноногие ученицы стали было растаскивать по цветочку. Но Марина Яковлевна, заметив это, забрала букет, сказав, что он пойдет в учительскую. В учительской она передумала и забрала букет домой.

Пал Палыч уходил из класса после всех. Он оглянулся на красные полотнище над доской и подумал, что если попросить еще один последний урок? Такой, чтобы, кроме учеников, никого не было... Разрешит полковник или нет?

ТРИДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ

Совершенно недействительно то,
что случается с нами в действительности.
Оскар Уайльд.

1.

В винном отделе, отгороженном стеной из ящиков с пустыми бутылками, дабы алкаши не омрачали взора более сознательной и реже пьющей части населения, как всегда в конце рабочего дня, ползла змея из человеческих тел до самой двери.

- Крайний?

- Так точно!

Кравчук поморщился, но занял пост за аккуратным старичком, бережно прижимавшим к груди четыре пустых четвертинки. Змея волюновалась: водка была на исходе, а дело двигалось медленно, или казалось, что медленно, потому что состояние у Кравчука весь день было озорное.

В отличие от большинства удачников, Альберт Кравчук мог праздновать день рождения только раз в четыре года, когда на кален-

даре появлялось двадцать девятое февраля. В такой год он родился тридцать шесть лет назад, и с тех пор, стало быть, ждал дни рождения в четыре раза дольше, чем прочие граждане.

Утром на работе он, естественно, никому не заикнулся о событии. Но расчетчица Камиля, которую все, упростив ее татарское имя, звали просто Миля, по неосознанному чувству заглянула в табличку, прилепленную у нее в столе на дне ящика. И точно: в графе "Наименование товара" значился Кравчук А.К., в графе "Сорт" - экономист, в графе "Срок поставки" - 29 февраля.

- Если спросят, я по месткомовским делам, - сказала она.

Как Камиля действовала, всем известно. Она вынула из сумочки кошелек и в качестве уполномоченной месткома по вопросу дней рождения и похорон побежала по комнатам отдела расчета оптимального резерва запчастей. Не только резерва, но и самих запчастей не было, тем не менее премии начальство отдела получало исправно и даже держало переходящий вымпел победителей соцсоревнования в управлении, составляющем важную часть главка, входящего в министерство.

Премии премиями, а собирать деньги уполномоченной было не просто. Склерцов, если сказать, что собираешь по рублю, сам вынет трояк. Шубин, зам его, будет долго скрести по карманам и попросит зайти позже. Думает, Камиля забудет, но не на такую напал.

- Вам каждый год, а ему раз в четыре, - прямо ляпнет она. - Так что не жмитесь!

Шубин - трус, спросит, сколько дал Склерцов, немедленно вспомнит, что где-то у него, кажется, залежалось, полезет в сейф и вытащит два рубля.

Рядовая масса внесет по полтиннику. Куренцову, которую недавно муж бросил, Миля незаметно обойдет: у нее двое детей. За командированных займет в кассе взаимопомощи, а в следующий раз они отдадут вдвое больше - за старое.

Перед обедом Камиля сказала Альберту, что у нее сегодня разгрузочный день, очередь в буфет ей не занимать.

- Ты вроде бы в порядке, - оглядел ее Кравчук, будто не понял хитрости.

Камиля поправила юбку.

- Мне двадцать три. С половиной. А мать расплнела в двадцать пять.

Вернулась Миля через час, молча положив перед Кравчуком сверток. Теперь, пока змея поглощала алкоголь, Алик открыл портфель. В нем лежал этот сверток с тремя галстуками. Галстуки широкие, как еще недавно было модно, и к каждому платок. Этих галстуков Кравчуку хватит до гроба, тем более, что он их не носит. Они душат. Надевал он галстук три раза в жизни: защищая диплом, в ЗАГС и на похороны отца.

С иронической улыбкой Камиля наблюдала примерку, которой она потребовала сразу после вручения подарка от имени и по поручению.

- Экономически ты нецелесообразно родился, - сказала она. - Даришь вчетверо больше, чем получаешь.

- А чего же мне - день зачатия отмечать?

- Детей находят в капусте, - объяснила она, хлопнув ресницами, которые она подкрашивала перед Кравчуком два раза в день. - Слушай, правда, что у тебя жена еврейка?

- А что?

- Ничего! Я уверена, что из-за этого они тебя и не повышают.

- Много ты понимаешь! Вон, у Молотова была жена еврейка...

- Так он же исправился: взял ее и посадил.

- Ну, у Косыгина тоже...

- Это точно не известно. Послушай, ты бы в партию вступил, перекрыл...

- Да я храплю сильно. На собрании не высижу.

- Ужас! Как можно любить храпящего мужчину? Кстати, с тебя причитается...

Нужно было, как положено, сгонять за бутылками и тортом. Все придут со своими стаканами, запрут дверь и вернут с лихвой расходы на подарки. Но у Алика денег только на одну бутылку сухого. Он пропустил намек Мили мимо ушей и коллективную поддачу за его счет просто зажал.

До прилавка осталось всего ничего. Старичок выставил четыре пустых четвертинки и забрал одну полную. Он повертел пальцем головку, проверяя ее неприкосновенность, и сунул пузырек в карман. Продавщица стучала монетой по прилавку, торопя змею.

- "Гурджаани"! - выпалил Кравчук, став змеиной головой.

- Еще чего?
- Больше ничего.
- Еще, говорю, чего? Где я тебе возьму "Гурджаани"?
- Нету? А ведь было...

Кравчук видел в руках у выходящих - несли.

- Было да сплыло! Думай быстрее!

- Тогда это... "Алжирское", - Алик указал на ряд бутылок с одинаковыми красными этикетками.

Бутылка легла в портфель на галстуки: Кравчук выдрался из магазина и затопал к метро, но на углу остановился у объявлений. Обмен их комнаты в коммуналке на однокомнатную обсуждался давно. И хотя фантастических денег для неофициальной уплаты разницы не предвиделось, Евгения настойчиво искала варианты, и Алик посматривал на циты.

Ему больше нравилось читать объявления, которые его касались. Он их запоминал и цитировал. Камиля смеялась:

- Боже, сколько у нас идиотов!

Евгения сердилась:

- Делать тебе нечего!

Она была практичной, а это в женщине большое достоинство и огромный недостаток. Он читал:

"Ребенку требуется няня, говорящая на английском и французском. Жилищные условия имеются. Адрес: Тбилиси, проспект Руставели..."

Языков Кравчук не знает и няней к аристократу в Тбилиси не пощитится.

"Киностудии "Мосфильм" требуются монокли, веера, трости, табакерки, фальшивые драгоценности девятнадцатого века".

Фальшивых драгоценностей у Кравчука тоже не было.

"Утеряны золотые часы "Заря" с браслетом - память о погибшем муже. Нашедшего прошу звонить для получения благодарности".

Часов Кравчук в последнее время не находил, а нашел бы - продал, чтобы раздать долги.

"Студия клоунады при Московском государственном цирке объявляет набор. Прием до первого марта".

Альберт хмыкнул, что-то теплое вспыхнуло в сознании. Он переложил портфель с тяжелой, как бомба, бутылкой "Алжирского" в дру-

гую руку, еще побродил глазами вдоль щита. Все меняющиеся почему-то предлагали худшее и хотели получить лучшее, а ему надо было, чтобы хотели наоборот. Попалось бы сейчас подходящее, Евгения воскликнет:

- Ох! Самый лучший подарок к твоему дню рождения!

Зря квартиры не разыгрывают в спортлото. Хотя и глупо играть с государством в азартные игры (мы все-таки экономисты и соображаем кое-что), но ради ничтожного шанса обзавестись отдельной квартирой Алик билетки бы покупал. Не соображает государство, как бабки делать, а могло бы...

Он уже стоял сжатым в метро и ехал на свою Преображенку. Надо было бы выйти на Дзержинской, заскочить в "Детский мир" и купить подарок Зойке, но он протолкается битый час и все равно ничего не купит: это не игрушки, а утиль.

Голод торопил домой. Но на пересадке у эскалатора был затор, как всегда в часы пик. Алик еще лет двадцать назад читал, что скоро в Москве будут монорельсовые дороги и воздушные такси. Он проглотил слюни.

2.

Ключ заело в скважине замка, который давно надо было заменить. Евгения выбежала в коридор.

- Режь хлеб, все готово!

Держа вымазанные руки на весу, она чмокнула его в щеку. Значит, помнит. И соседей дома нет. Их часто нет, блаженство. В коридор выкатилась коlobком Зойка.

- Заяц, не подходи, я холодный. Новости в школе?

Зойка прыгала вокруг на одной ноге.

- Одна новость отличная и одна посредственная.

- За что посредственная?

- За устный счет. Нас по очереди директор проверял... Мама говорит, я замедленная, как ты!

- Я? В семье два экономиста, а дочь не умеет считать...

Алик протянул ей бутылку.

- Тяжелая - не урони.

По случаю отсутствия соседней они выпили и ели картошку на кухне. Картошку они ели всегда, только способ приготовления менялся. Потом Евгения отнесла Зойку спать. Альберт хотел налить еще.

- Ты меня споил. Я - в стельку! В прошлое рождение, - глаза у нее ехидно засветились, - тебе было тридцать два. А сейчас? Неужели тридцать шесть? Смотри, сколько стало седых волосков! Мне надоело их у тебя выдергивать.

Упрекая Альберта в постарении, Евгения утешала себя. Хотя Плехановский они кончили в один год, ее день рождения был осенью. Ближайшие полгода она могла считать себя моложе. С возрастом у нее становилось больше иронии. Она совершенствовалась в поиске черт старения у других, отвлекая внимание от себя.

- Тридцать шесть, - продолжала она. - Следующий раз будет сорок.

- А через раз - сорок четыре.

- Все чего-то добиваются, а мы?

Этим "мы" она деликатно смягчала укор. Но направление его было ясным.

- С чего ты взяла, что все?

- В газетах пишут...

- Верь больше!

Он решил, что лучшего времени ее обрадовать не будет.

- Кстати, завтра я кладу Склерцопу заявление об уходе.

Евгения смотрела на него с недоверием.

- Шутка?

- Серьезно.

- Хаимов?! Неужели Хаимов не трепался тогда? Значит, сдержал обещание и берет? У него командировки заграничные... Что я говорила! Хаимов - деловой парниша. Чувство долга у него есть.

- Чувство долгов...

- Не смейся!

- Он же за тобой увивался.

- Чепуха! Ничего не было. Был только ты.

- Жалеешь?

- Перестань! Хаимов пойдет еще выше, пока не узнают, что его папа был Хаймович.

- Откуда ты знаешь?

- Привязался! Да он это всем евреям рассказывал.

- Что-то я не слышал...

- Русский, вот и не слышал. Ну, сто восемьдесят они точно от-
валят, а может, и двести. Пылесос купим... Нет, вы подумайте! То-то
смотрю, ты такой возбужденный.

- Нет, я не к Хаимову.

- Не к Хаимову?! - глаза ее расширились.

- Мам! - крикнула Зойка из комнаты.

- Зоя, спи немедленно! Я занята. Альберт, не терзай душу, куда?

- В студию клоунады.

- Что, теперь они будут управлять экономикой?

- Ничем не управлять. Я учиться. На клоуна.

Она обошла вокруг стола, руку приставила к уху, отдавая честь,
стукнула пятками.

- Я с тобой, как верная подруга!

- Туда женщин не берут.

- Ты что, серьезно?

- Серьезно. Не берут.

- Я не о том: ты - серьезно? Там что, стипендия больше твоей
нынешней зарплаты?

- Не спрашивал.

- Ах, не спрашивал! А тут платят сто пятьдесят. И с нацио-
нальностью у тебя все в порядке. Дадут старшего...

- Потом-то зарплата - будь здоров, Жень! И гастроли за грани-
цей... Достань сигареты в портфеле! Понимаешь, я еще в детстве
мечал. Ну, раз в жизни рискнуть. Так ведь и умрем в трясине...

- Рискнуть? - донесся ее голос из коридора. - А это что?

Она вернулась с галстуками, разметавшимися у нее по рукам.

- Что?! - повторила она с отчаянием, тряхнув галстуками. - Твой
реквизит, или как там называется?! Это же наши! Хоть бы на поль-
ские разорились. Безвкусица такая, что держать противно!

Евгения швырнула галстуки на стул. В глазах стояли слезы.

- Ну, чего ты? - растерялся он. - Чего?

- Ты забыл, как стал ходить по вечерам играть в хоккей? Сколько денег вылетело на амуницию? А что говорил? Что чувствуешь силы войти в сборную. Полтора года я с Зойкой на руках помогала в нее войти. А результат?

- Ты же знаешь, у меня реакция - будь здоров. Для вратаря - незаменимое качество.

- Да тебя на матчи дальше трибуны не пустили!

- Еще немного и пустили бы. Планы у меня изменились...

- Изменились! На балетную студию в этом дурацком Дворце культуры. "У меня все данные. Отсюда уходят в профессионалы". Не ты два года твердил?

- Я же не виноват, что бездарности в искусство пробиваются легче. Они нахальнее, им нечего терять. Зато знают, что приобретут.

- Ты у нас талант!

- Они сами говорили, что у меня гибкость!

- С твоим ростом? Тоже мне Лиела!

- Слушай, Евгения, клоунада, я понял, абсолютно серьезно. Ну, не подыхать же мне за полторы сотни в этой шараге с подонком Шубиным? Гори они синим пламенем, запчасти, которых все равно нету, одна лиела.

- А мне опять жить одной и на тебя не рассчитывать? После еще что-нибудь, и снова абсолютно серьезно? Это называется мужчина, кормилец семьи... Оглянись! Вон Софа - у нее муж хоть диссертацию защитил.

- Вымучил - за девять лет.

- А Ликуты, тоже наш институт...

- У них дядя в Госплане, знаешь ведь.

Она встала посреди кухни и, задрвав халат на бедре, показала рваные колготки.

- Тебе плевать, что мужчины о твоей жене думают.

- Им туда заглядывать не надо.

- А это и так видно. Между прочим, эти колготки мне Софа отдала, свои, старые...

- Евгения, я хочу в искусство. Там обеспечат. Надо только терпение.

- Иди, куда хочешь!

- Не веришь?

- С меня хватит! Устала жить с ничтожеством.
- Я ничтожество?! Да вокруг погляди. Я хоть не пью...
- А ты пей. Пей, пой - мы с Зоей переезжаем к маме.

Она поставила стул к антресолям, решительно сняла пустой чемодан и унесла в комнату. Потом вернулась, швырнула ему старое ватное одеяло, и дверь их комнаты захлопнулась за ней на английский замок.

А Камиля жила бы с этим ничтожеством и была бы счастлива. Кравчук рассеянно бродил по кухне. День рождения будет неполным, если не попить чаю.

Он заварил покрепче, высыпав остатки заварки, взял с подоконника соседский транзистор и, пользуясь отсутствием хозяев, стал крутить. Кроме треска глушилок, которые все знакомые называли чека-джазом, ничего слышно не было. Забывали все, что можно, даже, кажется, свою собственную дребедень.

Авось соседи не появятся сегодня, и кухня в его распоряжении. Альберт достал с тех же антресолей раскладушку и раздвинул ее между газовой плитой и кухонным столом. Положив на нее рваное одеяло, он, не раздеваясь, забрался под него. Зачем простыни, когда без них проще? Это была его последняя в тот вечер значительная мысль.

3.

Окно кухни выходило на восток. Бок никелированного чайника ослепил, и Альберт открыл глаза. Солнце заливало всю кухню. Вчера была зима, а сегодня появилась уверенность, что дальше всегда будет весна.

Никто его не разбудил. Соседи - золото, цены им нет, не приехали. Евгения с Зойкой ушли. Даже если уже построили монорельсовую дорогу, на службу Алик все равно опоздал.

Он сладко потянулся на скрипучей раскладушке, жмурясь от солнца. Потом вынул из холодильника яйцо, ударил по нему ножом и вылил в рот сырым. Положил на язык кусок сахара и стал сосать из чайника холодную вчерашнюю заварку. Позавтракав таким образом, он остановил первую попавшуюся казенную легковую машину, которая

доставила его до работы ("Как же ты можешь? Ведь это почти кило яблок для ребенка!" - говорит Евгения). А он опять смог.

- Ой, как же теперь?! - испугалась Камила. - Заходил Шубин, я сказала, что ты у смежников и будешь после обеда. Учти, он мог позвонить туда, проверить.

- Я плевал на Шубина вместе с его занудством, Милька! - слегка приподнявшись на носках, произнес Кравчук. - Я видел в гробу Склерцова в белых тапочках. Подай-ка мне чистый лист.

Она поднесла ему на ладонях чистый лист бумаги, а когда он хотел взять, спрятала за спину.

- Сперва скажи, зачем, тогда получишь.

Невольно он обнял ее, и губы соприкоснулись. Камила очень любила такие игры.

- Заявление напишу, - сказал он. - Увольняюсь.

В мгновение она стала серьезной и старалась понять, не шутка ли это.

- Увольняешься? Совсем?! Вот это да!.. Тебе всегда везет. А мне - никогда. Я расплачиваюсь за татаро-монгольское иго.

Присев на край стула, он нарисовал размашистым почерком слово "Заявление" и приписал: "Прошу по собственному желанию". Алик со смаком вывел "собственному" и широко расписался, прочертив элегантный зигзаг, состоящий в основном из двух больших букв - А и К.

В глазах Камилы светилась нежность, страх разлуки и еще нечто, наверное, преклонение перед смелостью Кравчука. Он подмигнул и вышел вразвалочку.

Возле склерцовой секретарши Крачук потряс листком, дав ей понять, что дело важное. В кабинете возле Склерцова склонились двое из исследовательского сектора. Улыбаясь, Кравчук постучал по локтю коллеги, чтобы тот заткнулся и отодвинулся. Альберт молча и с достоинством протянул руку начальнику. Тот удивился, но руку пожал.

- Ну, что, Склерцов? - развязно спросил Альберт. - Все жуешь те же нормативы? Ну и темп! Давно пора утвердить!

Склерцов удивленно поднял брови.

- Ты это что, Кравчук?

- А чего трусить? В газетах пишут: руководитель должен быть смелым. А ты?

- Шутишь, что ли? По-моему, неуместно.

Альберт не ответил, положил листок.

- Подпиши, меня время поджимает.

Начальник нехотя скосил глаза, а прочитав, вскочил и нервно заходил по кабинету, натываясь то на телевизор, то на столик с телефонами.

- То есть как? Нет, товарищи, вы только подумайте, какая неприятность у нас в коллективе: Кравчук собирается уйти...

- Не собирается, а уже уходит, - уточнил Альберт.

Склерцов оглядел двоих из исследовательского сектора, словно впервые увидел.

- Идите, я позже вас вызову.

Он подошел к столику с телефонами.

- Василий Иваныч, сколько у нас получает Кравчук?

Кравчук вдруг подумал, что бухгалтеров и начальников отделов кадров всегда зовут Василиями Ивановичами. Внуки они все Чапаева, что ли?

- Не помню точно, - замылся Василий Иваныч, - сейчас взгляну.

- Что ты за кадровик, если не помнишь?

- Вот, пожалуйста, Кравчук... Сто пятьдесят.

- А вакантное что есть? Ну, из придежки...

- Понял. Э... если по сусекам поскрести, найдем должностенку рублей... э... на сто шестьдесят.

- Больше. Спусти очки со лба-то!

- Да они у меня и так уже на носу. Вот... Сто восемьдесят. Но это...

- Сам знаю, что - это. Готовь приказ на Кравчука. И собирайся в министерство, попросим утвердить. Коньяк захвати в сейфе, который тебе из Еревана поднесли.

- Будет сде...

Склерцов отключил его и соединился с секретаршей.

- Элеонора, где шофер?

- Пошел в буфет чайку попить.

- Сбегай, я еду в министерство. Возьми в кадрах приказ на Кравчука, перепечатай и на подпись.

- Зря вся суета, - заметил Кравчук, с улыбкой наблюдая за действиями Склерцова.

- Нет, не зря, Альберт Константиныч. Если по большому счету, мы перед тобой виноваты. Я лично самокритично признаю. Сколько лет ты у нас?

- Одиннадцать.

- Точно, одиннадцать. Я пришел - ты уже год работал. Анкета у тебя в порядке, человек ты непьющий, в отрасли нашей разбираешься, а вот упустили рост из виду. Ты уж извини.

- Да чего там! - Альберт брыкнул ногой. - Только я все равно ухожу. Меняю профиль.

- Ну! Профиль? - заскучал Склерцов. - В каком же разрезе, если не секрет.

- Не секрет, но в стадии решения, - многозначительно произнес Альберт, подняв глаза к потолку.

- Улавливаю, - Склерцов посмотрел туда же. - Так если что, ты нас, Альберт Константиныч, не забывай.

Камиля не работала, ждала его.

- Алик, куда? Я ведь умею быть немей рыбы, знаешь..

- Учиться...

- В аспирантуру?

- Вроде... В студию клоунады.

- Цирк?! Не, а серьезно?

- Разве я тебя когда обманывал?

- Еще обманешь. Кобели все одинаковые. Значит, не хочешь довериться. А я думала...

- Клянусь!

Раскосые глаза Камилы округлились и застыли.

- Значит, гениальность. Способности в любом возрасте просыпаются. Я на это уже двадцать три года надеюсь. С половиной.

- Считаешь, правильно?

- Еще бы! Чего тут тратить жизнь, рассчитывая запчасти, которых все равно нету и не будет. А там искусство... С Никулиным будешь пить пиво.

- Почему - пиво?

- А я люблю пиво.

- Мне пора, - сказал Альберт.

- А я?

Миля подошла к нему вплотную, так, что он почувствовал готовность, исходящую от нее.

- Знаешь, - поспешно зашептала она, - ты был прав. Ведь это даже удобно, что ты женат. Это я, дура, в обед боюсь: вдруг кто начнет ломиться. А сейчас... Хочешь, поцелую?

- В другой раз, - галантно произнес джентльмен Кравчук.

Эту часть жизни он уже прожил. А в другой части будет что-нибудь более эффектное.

Камиля вытерла слезы и вытщила кошелек. Перед ней стояла важная общественная задача: обойти отдел и собрать деньги на подарок по случаю ухода экономиста А.К.Кравчука.

Тем временем Альберт выскочил на улицу, остановил такси, сел на заднее сиденье и велел шоферу гнать к старому цирку на Цветном. Вынул из кармана сверток и разложил на сиденьи галстуки. Выбрал из них самый яркий, обмотал вокруг шеи, завязал двумя узлами. Галстучные узлы он завязывать не умел, но так будет смешнее.

С цирковой афиши на него смотрел красноносый весельчак в больших ботинках: "Весь вечер на манеже Альберт Кравчук". Это Алик в уме заменил имя. Звучало заманчиво. Его сразу пропустили, просили пройти к директору цирка. Альберт открыл дверь и снял старую ушанку из польсевшего кролика.

- Здравствуйте! - громко изрек Кравчук, будто он вышел на арену.

Не подымая головы, пожилой человек, сидевший в старинном кресле за огромным столом протянул палец вперед и ткнул им в стену возле двери.

- К сожалению, - сказал он.

На стене висело объявление о приеме в студию клоунады, точно такое, какое Альберт прочитал накануне на щите. Объявление было перечеркнуто крест-накрест синим фломастером и внизу размашисто написано: "Прием окончен".

- Простите, - Альберт помял шапку. - А может, вам требуются экономисты?

Директор цирка склонил голову набок.

- Кто-кто?

- Я говорю, экономисты не нужны?

- Хм... Смешно!
- Я серьезно.
- Это еще смешней. Чем вы занимаетесь?
- Запчастями.
- И можете их достать?
- А вам нужны?

- Мне? - старик оглядел себя. - У меня почти все функционирует. А что вы умеете? Жонглировать? Баланс на канате? Фокусы работаете?

- Откровенно говоря, не пробовал...
- Так я и думал.

Директор встал, оглядел Альберта и вдруг закричал:

- Поднимите портфели! Проойдитесь! Блестяще! Типичный выход экономиста.

- Мне обещали старшего, - сказал Кравчук.
- Еще лучше - выход страшого экономиста.

Альберт шел к зеркалу и увеличивался в размерах. Он непри-
нужденно улыбался. Черная оправа на бледном лице. Волосы, уло-
женные в пробор. Взгляд в светлое будущее.

- Bravo, bravo! - захопал в ладоши старик. - Шапку наденьте.
- Да она старая. Из кошки, наверно...
- Вижу, что не пыжик! Значит, старший экономист, да? Ха-ха!

- Ну, и чего смешного? - рассердился Альберт. - Без экономики, между прочим, жрать было бы нечего.

- А с экономикой, ха-ха?

Директор весь затрясся в смехе и снял телефонную трубку.

- Эй, там, беру еще одного. Новый тип, представляете: выходит шталмейстер: "На манеже старший экономист..." Как вас величать?

- Кравчук, Альберт Константинович.

- Слышали? Ага... Выходит и шутит в экономическом плане. Кого посадят? Всех? Я что - первый день в цирке? Подберем что-нибудь понейтральнее. Фамилию записал?

Старик ласково положил трубку.

- Такие дела, дорогой. Завтра на занятия. Танцы, шманцы, дево-
чки в трико. Единственная просьба - поменьше слушать чепуху, ко-
торую вам будут преподавать. Сохраните себя для манежа таким,

какой вы есть. Быть клоуном дано не всякому. Это, возможно, самая почетная должность на земле. Привет семье!

Пройдясь по бульвару, Кравчук остановился у автомата и позвонил Евгению.

- Приезжай быстрее! Я у памятника Пушкину.
- Неужели взяли? С ума сойти. Как же мне отпроситься?
- Соври. И не забудь занять двадцатку!

К Пушкинской он двинулся пешком. Евгения уже высматривала его близорукими глазами, но очки не надевала. Она по-деловому обняла его, взяла под руку, и они пересекли площадь к ресторану ВТО. Швейцар открыл дверь и поклонился.

- Звонили, звонили из цирка, - сказал он. - Прошу!

Обед был, как в лучших домах Лондона. Филиппов с Кадочниковым кириали нанкосок.

- Надо привыкнуть, что у меня муж - известный артист, - сказала Евгения, когда они в такси мчали домой. - Куплю венчик выметать поклонниц. Хоть бы на афишах тебя изображали менее красивым, чем ты есть.

- Я распоряжусь, - кивнул Альберт.

Теща надевала сапоги. Она приволокла Зою с продленки, уложила спать и теперь собиралась уйти.

- Наконец-то! - воскликнула она. - Ребенок сам по себе, родителям дела нет.

- Заяц! - разбудила ее Евгения. - Потрясающая новость: наш папка - клоун!

Зойка вскочила с постели в ночной рубашке до пяток и бросилась Альберту на шею.

- Правда? И работать не будешь, каждый день в цирк ходить? А мне с тобой можно? Вместо продленки? Там буду уроки делать.

- По воскресеньям, ладно?

- А Иру и Марину позову?

- Все с ума спятили. - сказал теща. - Все! Хоть бы мне сдохнуть скорей и этого не видеть. Завтра приеду, как всегда.

Они легли. Евгения шепотом, боясь разбудить спящую рядом Зою, мечтала о том, как изменится их жизнь. Все осуществилось, ну просто все, если не считать монорельсовой дороги. Да черт с ней! Машину купим, в кооператив вотремся: две изолированных комнаты,

кухня и никаких соседей! Обняв его обеими руками, прижавшись всем телом и засопев, она вдруг почувствовала, что любит его, как раньше, и, отлюбив, облегченно заснула, усталая от счастья. К этому моменту Кравчук и сам уже храпел.

Так закончилось у Кравчука тридцатое февраля.

4.

Утром первого марта он проснулся от того, что у него замерзли ноги. Одежало сползло с узкой раскладушки на пол. Хотя окно кухни действительно смотрело на восток, никакого солнца не было. Таяло, а небо было затянуто беспросветными облаками. Но и в ясный день солнце на кухню не попало бы: его загораживала двенадцатиэтажная коробка, которую крикливая бригада строителей уже не первый год подводила под крышу.

Кравчук согрел чайник. Вообще он выпил бы холодного чаю, чтобы не возиться. Но Евгения говорила, что холодный чай утром пить вредно. Он накрошил в сковородку хлеба и выпил яйцо. Ты не тенор, говорила Евгения, яйца можешь жарить, не ленись.

На работу он ехал в метро. Воняло носками, и давили бесцеремонно, но зато метро было самым красивым в мире. На службу Кравчук почти не опоздал. Он бегом взобрался по лестнице, чтобы не ждать лифта, кивнул людям из соседнего сектора, курившим в коридоре, и сел за стол, сделав вид, что уже давно пришел. Он отодвигал папки с материалами, ждавшими расчетов, когда вбежала раскрасневшаяся Камиля.

- Ой, господи, чуть не опоздала! Шубин попался, ужас, какой злой.

Она причесалась, подвела ресницы и, выдвинув ящик стола, стала читать.

- Камиля, почему никогда не работаешь? Из-за тебя запчастей не хватает.

- И хорошо! - она кокетливо сощурилась. - Их и не должно хватать, иначе мы зачем? Так что не мешай, я дочитаю "Королеву Марго". А тебе Шубин велел зайти с отчетом к Склерцову.

- Слушай, мне бы смотаться часа на полтора.

- Сходи, а после смоешься.

Разыскав в ящике стола папку, Кравчук отправился в кабинет Склерцова. В коридоре, возле стенгазеты, которую писали, но не читали, и щита с приказами о наказаниях, которые никого не огорчали, двое глазели на прошлогодний план обязательных занятий сети партийного просвещения.

- Все суетишься? - остановил Альберта коллега. - Между прочим, в России учреждение всегда называлось присутствием. Гениально: все присутствуют, никто не работает. А ты? Вид такой деловой. Рас-ти хочешь, что ли?

К начальнику секретарша не пустила, велела ждать. Кравчук тербил в руках папку, украдкой поглядывая на часы. Наконец, раздался звонок, разрешающий войти.

Склерцов что-то писал и, не поднимая головы, знаком указал на стул. Он кончил писать, перечитал, переговорил по телефону, глядя сквозь Кравчука, потом закурил.

- Ты, Кравчук? - сказал он, смотря в окно на крышу соседнего дома. - Вроде не первый год у нас, не мальчик.

- А что случилось?

- И премию тебе давали. Почему медлишь? Может, не справляешься?

- Почему - не справляюсь?

- Так какого же лешего ты не подобьешь бабки? Из-за тебя не сообщаем главку объяснение причин перерасхода сальников и прогноз увеличения их выпуска.

- Реальных причин?

- К черту реальные! Надо, чтобы цифры сошлись, и все. Мне шкуру спускают, а ему хоть бы хны! Альберт... как тебя по батюшке?

- Константиныч.

- Так скажи ты мне, Константиныч, мать твою за ногу! В чем дело?

Кравчук молчал. Он мог бы сказать, что поставщики дают сальники девяностопроцентного брака, что потребители запрашивают втрое больше, чем надо, и это утекает налево. Но Склерцов и сам все знает. Не Кравчук в этом виноват.

- Ладно! - смилостивился Склерцов. - Сегодня должно быть готово. Иначе приму административные меры, так и знай.

- Я могу идти? - исполнительно промямлил Альберт, чувствуя облегчение, и уже двинулся к двери.

- Иди! Хотя постой-ка! Неси сюда всю документацию, садись вон за тот стол и не вставай, пока не будет готово.

Вот влип-то! Кравчук тихо выполз из кабинета. Раз в жизни представилась возможность взять судьбу за рога, так тут Склерцову приспичило.

- Чего он хочет? - подняв раскосые глаза от книги, спросила Камиля. - Ты бы ему сказал, что вчера был день рождения. В конце концов, имеет право советский человек, чтобы ему хоть раз в год настроение не портили? Верней, раз в четыре. Аж, а чего тебе жена подарила?

- Отстань!

- Чавой-то сегодня ты такой нервный с утра? С женой поссорился?

У Камили нюх на эти дела. Евгения ничего не подарила. У них уже несколько лет договоренность ничего друг другу не дарить. Толкового подарка все равно не достать, и денег никогда нет. Но объяснить это Миле долго, да она по своим двадцати трем незамужним годам и не поймет.

С папками, как с подносом, Кравчук пнул ногой дверь и с мрачным лицом отправился в кабинет начальника. Сел в углу за просторный стол для заседаний и, обхватив голову ладонями, попытался сосредоточиться. Он старался не слушать разговоров и звонков, не обращать внимания на входивших. Успеть бы только подать документы в студию клоунады. Сегодня ведь последний день. Там, небось, сто человек на место, а то и больше. Но вдруг! Тогда на цирковую премьеру он широким жестом пригласит Склерцова вместе с его секретаршей. А лучше Камиля соберет деньги и организует культпоход на Кравчука. Все пойдут, особенно если в рабочее время.

Альберт потряс головой, чтобы отрешиться от посторонних мыслей. Дел в таблицах, в сущности, немного: данные по расходу сальников усреднить и вывести по принятым формулам липовый прогноз, который сейчас ждут от Склерцова, а потом никто в министерстве не вспомнит.

Склерцов уехал на совещание (после совещаний от него пахло спиртным, сытным обедом и дорогими духами), и в кабинете

стало тихо. Даже болтовня секретарши за двумя дверями прекратилась. Альберт вышел в туалет, а вернувшись и открыв дверь склерцовского кабинета, увидел, что за столом Склерцова сидит со значительным видом Шубин и роется у него в столе.

- Гуляешь? - Шубин старался скрыть смущение. - Закругляйся быстрее.

- Ладно...

Шубин вышел. Альберт, бурча про себя ругательства, уселся доделывать работу.

За окном стемнело, когда Кравчук, на зажигая света, тихо положил на середину склерцовского стола этот чертов отчет, дважды подчеркнув цифры, которые требуются министерству. Он схватил в охапку папки.

- Разделался? - спросила Камиля. - А я книжку кончила, нечего читать.

Альберт швырнул папки себе на стол и стал надевать пальто. После такой напряженной работы за весь отдел пусть кто-нибудь упрекнет его, что он срывается раньше. Возле Мили он задержался.

- Поцелуй меня. В губы.

- За что?

- За день рождения.

- У! Он был вчера.

- Ну, тогда для удачи...

- Нет уж! Мужиков баловать - только портить. Вон Перитонитова из отдела комплектации правильно делает: не вымыл муж посуду - и ее не получит...

- Тоже мне, Руссо.

- Подумай: какой мне смысл тебя сейчас целовать? Да еще в губы. Это неперспективно. Порядочная девушка должна целовать того, кто хотя бы обещает...

- Чего?

- Жениться или время провести. А ты - ни то, ни се.

Она помахала ему пальцами, выдвинула ящик, из которого вытаскивала вязание, и принялась за дело.

Альберт старался незаметно проشمыгнуть по коридору, и ему это удалось. До цирка он добрался троллейбусом. У циркового подъезда было темно и пусто. Альберт двинулся вокруг искать служебный

вход. Возле центрального рынка толпился народ, в основном восточный. В цирке пахло лошадиным навозом.

- Пропуск! - строго прохрипел вахтер.
- Мне... Где тут в студию клоунады принимают?
- В отделе кадров. Но все равно пропуск!

На заказывание пропуска ушло полчаса.

Под лампочкой висела доска объявлений с ободранными краями. Кравчук пробежал глазами извещение о занятиях сети политпросвещения для работников манежа, приказы о перемещениях в должности, договор о соцсоревновании, в котором артисты брали повышенные сообразительности делать то, что они и так делали. "Пятилетний план подготовки новых номеров", - читал далее Альберт. "Актера такого-то за выход на манеж в нетрезвом виде лишить того-то и объявить ему то-то" "За курение в ненадлежащем месте согласно рапорту пожарной охраны такому-то сделать то-то". Список задолжников членских взносов в местком завершал композицию.

Кравчук сморщился, как от зубной боли. Вдохновение увяло, отделилось от его брэнного тела и унеслось в неизвестном направлении, как душа от покойника. Уйти. Сразу, не ступая на вытертую поколениями циркачей дорожку. Опять малодушие! Всю жизнь идет оно за Кравчуком, как тень, но, в отличие от тени, то и дело норовит загородить дорогу, оттолкнуть, затоптать, приравнять его, человека с дарованиями, к средней массе.

Поднимаясь по лестнице, Альберт чувствовал одышку. Может, он постарел? Нет, главное не дрейфить. В темном коридоре он остановился и, чтобы успокоиться, стал считать: вдох-выдох.

Собрав остаток воли, Кравчук приоткрыл дверь с надписью "Отдел кадров" и, сняв шапку, заглянул. За старомодным столом, между двух сейфов, сидел пожилой человек и читал газету "Советский спорт".

- Извините, я по объявлению насчет клоунады... не опоздал?

Инспектор отдела кадров отложил газету, снял очки и осмотрел Альберта.

- Анкету заполнял?
- Нет еще.
- А кто тебя, собственно, рекомендовал?
- Сам я...

- Где в нашей системе работал?
- Видите ли...
- Если "видите ли", то нечего и заполнять, бумага - дефицит.

Образование?

- Экономист.
- Высшее, значит. Возраст?
- Тридцать пять, - сказал Альберт

Он не соврал, вырвалось на год меньше.

- О!.. Чего ж тебя учить три года? Чтобы проводить на пенсию?
- Ну, тогда извините...

Черт его дернул заходить, ведь решил же смыться еще в коридоре. Кравчук кивнул как-то нелепо и тихо попятился из двери.

В коридоре опять запахло конюшней. Сморщенная женщина задела его мокрой тряпкой, намотанной на палку, и назидательно проговорила вслед:

- Смотреть вперед надо, когда идешь.

На улице фонари едва пробивались сквозь сырую темноту. Альберт двигался, как в вате, не понимая, зачем и куда.

- Эх, мать свою поберег бы!

Нечто твердое уперлось ему в бок и стало очень больно. Тормоза у самосвала взвизгнули, засипели. Шофер соскочил с подножки, оставив дверцу открытой. Он вытащил Кравчука из-под колеса, ощупал его. Обнаружив, что тот цел, только зад и рукав пальто в грязи, шофер поднес кулачище к носу Альберта.

- Давил бы таких, как тараканов.

Он выматерился, вскарабкался на подножку, остервенело захлопнул дверцу и газанул, обдав Кравчука брызгами мокрого снега и гарью из огромной выхлопной трубы.

Приходя в себя, Альберт постоял на краю тротуара, облокотясь о фонарный столб. Отдышался немного, ощущая легкими озноб от сырого воздуха. Хороший человек этот шоферюга, ласковый. Мог бы сплющить - Кравчук и пикнуть бы не успел, не то что сказать последнее слово. С клоунадой не вышло, зато живой. Хорошо, что не наоборот.

Остальной путь Альберт проделывал, сосредоточенно смотря направо, направо и даже вперед.

Он долго вставлял ключ в прорезь замка. Евгения приходит раньше, слышит эту возню и сама бежит открывать: "Режь хлеб, все готово!.."

Никто ему не открыл. В коридоре было темно, у соседей тихо. Не раздеваясь, следя по полу своими туристическими ботинками на рифленной подошве, в которую забился снег, Альберт прошел в комнату и зажег свет. На диване валялись Евгеньины кофточки, которые она давно не носила, на полу мятые газеты. На столе гора невытой, засохшей посуды.

Он сгреб со стола в ладонь хлебные крошки, отправил их в рот и обнаружил записку, прижатую пустой сахарницей. Запотевшие очки, потертые пальцами, приблизились к листку: "Я ушла. Больше откладывать не могу. Зою забрала мама. Посуду мой сам! Ж".

Не снимая ботинок, он прилег на диванчик, закрыл глаза.

Вообще-то следовало ожидать, что это рано или поздно произойдет. Давно шло к этому. Теперь он будет жить один и следить мокрыми рифлеными подошвами, где хочет. Посуду он вообще выкинет, а в кухню из комнаты будет ходить по канату. Завтра приведет после работы Камилю. А потом любовницы станут приходить вечером, и он будет проверять, умеют ли они что-нибудь делать на канате. На канате этого еще никто не совершал. Можно сказать, открытие в сексологии.

Сколько он пролежал в темноте, неизвестно. В дверь звонили. Открыла соседка, не известно откуда объявившаяся после долгого отсутствия.

- Ты оглох? Возьми сумку, еле донесла. И чемодан возьми.

Евгения сняла вязаную шапочку и отряхнула ее от снега. У нее были ключи, но она хотела, чтобы Альберт ей открыл.

- В химчистке очередь жуткая. А все равно самообслуживание дешевле. Целый чемодан перечистила. Посуду вымыл? Так и знала!.. Неужели жрать не хочешь? Что у тебя с пальто? Надо было вчера упасть, сегодня бы заодно вычистила...

Кравчук понес на кухню посуду. Думал: спросит Евгения про студию клоунады или нет? Она болтала без умолку про Зойку, которую мать забрала к себе на ночь, про свою сослуживицу Татьяну, которой упорно не везет: никак не может забеременеть. И Валентине не везет - опять беременна. Потом пошли рассказы про новые объявления об

обменах, но для нас ничего подходящего: все варианты с доплатой между строк. Евгения спросила даже насчет перерасхода сальников. А про клоунаду - ни-ни.

И все-таки Кравчук пришел к выводу, что она его любит. Он вспомнил недавно прочитанную статью. Социолог утверждал, что самые прочные семьи те, что находятся на грани развода. Так что, ссорясь, Евгения инстинктивно укрепляла их брак.

- Жень, - сказал он, - знаешь, о чем я думал?

- Знаю. Чтобы скорей поджарились купаты.

- Это само собой... Ты Бронштейна помнишь? Ну, из вычислительного... Он сейчас зачастил на ипподром.

- Верхом учится? Принцесса Анна покоя не дает? Так она замужем.

- Он сам женат, не в этом дело!

- А в чем? - Евгения посмотрела на него с опаской.

- Езда - мура, Жень! Он же программист, знаешь, какой сильный! Так он сейчас статистику начал собирать по скачкам, а в статистике он ни бум-бум. Зовет меня присоединиться...

- Зачем? - глаза ее похолодели, сощурились, и в них промелькнуло подозрение.

- Как это - зачем! Представляешь? Лошади в мыле, жокеи орут, тысячи людей психуют, ставки растут, тотализатор распирает от денег, а у нас все заранее в кармане. Мы-то составили рассчитали на кампютере, какая лошадь выиграет.

Он сказал "кампютер", как стало модно говорить. Она продолжала смотреть на него в упор.

- Ты, случаем, в Испанию не хочешь?

- Зачем мне в Испанию?

- Не догадываешься? Попытать счастья в корриде.

- Брось, Жень, я же серьезно!

- А кампютер где?

- Кампютер у нас на работе паутиной зарос. Можно вечером оставаться и работать. Валюта за него государством все-таки плачена, чего ему ржаветь? Вечерами по-тихому сработаем. Завтра сорвемся с работы пораньше, и на ипподром

Он подождал, что она ответит. Но Евгения молчала, склонившись над сковородкой с дымящейся картошкой, которая начала подгорать.

- Это серьезно, - сказал Альберт, и, чувствуя, что она его не хочет понять, прибавил. - Теперь - серьезно!

Вошла соседка, и диалог сам собой увял.

- Кухню скоро освободите? - спросила она. - А то никак посуду не вымою из-за вас.

Без злобы сказала, даже улыбнулась.

Евгения смотрела на мужа растерянно, словно колебалась: закричать или тихо заплакать? Но поскольку и то, и другое было бесполезно, она сосредоточенно нащупала на плите ручку, резким движением выключила под сковородкой газ и принялась перемешивать пригоревшую картошку.

ЛИШНИЙ ПЕРСОНАЖ В ВОДЕВИЛЕ

1.

"Астаррожна, дввери закррываюцца! Следующая станция - "Биларруская".

Объявляется так торжественно, будто двери эти - в светлое будущее. Металл в голосе - чтобы никто не засомневался. Где их учили площадной дикции? Как с мавзолея вещают. А может, просто характер у меня испортился, и я стал ворчуном?

Ворчун возвращался со спектакля, на котором был теперь зрителем, и с этим смирился. Покой нам только снится, говаривал он раньше. А теперь покой стал явью, а сон - беспокойством.

Многоцветная толпа вдавилась в полупустой вагон на "Маяковской" и притиснула Ипполита Акимыча к тем, кто оказались шустрой и успели сесть. Чтобы не налечь на сидевших, пришлось ухватиться

обеими руками за перекладину. При небольшом его росте и давлении с трех сторон это было нелегко.

В метро люди замечают друг друга, когда свободно. Если же в вагоне битком, то каждый сам по себе, будто один. Такой уж парадокс. Тем не менее пристальный взгляд на себе Ипполит Акимыч ощутил. Не повернешься, чтобы хоть взглянуть. Руки напряжены, не отпустить.

Посевелив кожей на лбу, попытался оторвать прилипшую шляпу. И это не удалось. Сдвинул ее пальцем, повертел шейю, чем тут же вызвал ворчание соседа, которому ни за что ни про что задел ухо локтем. Наконец, удалось в пределах возможного обернуться. У дверей, в двух шагах от себя, Ипполит Акимыч углядел молодого человека в больших очках, лицо которого показалось знакомым.

Тот кивнул головой, вроде как поклонился. Зашевелил губами, произнося слова, кои в грохоте тоннеля не расслышишь. И когда губы, задрожав, приоткрылись, сразу вспомнилось имя: Радик. Конечно, Радик. Только у него так вздрагивали углы губ: что-то типично актерское.

Механически кивнув в ответ, Ипполит Акимыч тут же пожалел, что это сделал. Вот кого не хотелось бы встретить.

Поезд тормозил на "Белорусской", и надо было протискиваться к дверям. Может, сделать вид, что не вспомнил? Или, на худой конец, отвернуться? Оставался шанс проскользнуть, избежав встречи. Но Радик уже рванулся вперед, нырнул и, когда двери раздвинулись, вывалился на платформу. Толпа вынесла бы их вместе, даже если поджать ноги. Радик оказался впереди, и, едва людской поток вытек на платформу, они столкнулись лицом к лицу. Деваться некуда. Пожав руки, постояли, глядя друг на друга. Радик худой и длинный, на голову выше.

- Помните меня?

- Ты ведь жил у Речного вокзала...

- Я с вами сошел. Вы все там же, на Малой Грузинской? Я из театра. Вы тоже?

- Угадал! А почему один?

- Так... Люблю один, - жестко отрезал Радик.

- Ну, коли встретились, сядем?

Нашли свободную скамью в стороне, чтобы люди, бегущие к эскалаторам, их не задевали. Душный ветер и человеческий поток, текущий мимо, создавали тот особый напряженный уют, которого не ощутишь, пожалуй, нигде, кроме как в московском метро. Радик тоже был смущен, и от этого неприязни к нему поубавилось.

- Опять весна, - произнес нечто ничтожное Ипполит Акимыч, чтобы не молчать.

- В метро всегда весна, - Радик усмехнулся, вытянул ноги и поглядел на грязные ботинки. - Когда-нибудь, говорят, будет только хорошая погода. А плохой не будет. Страшно всю жизнь провести в метро.

- А вне метро не страшно? - спросил Ипполит Акимыч.

Они посмотрели друг на друга, и устоялось какое-то взаимопонимание.

Радик стал скептиком, как я. Отчего ж у меня на него обида? Что он мне сделал плохого? В чем виноват?

Профессиональная память Ипполита Акимыча хранила в себе роли, даты, имена. К старости он стал воскрешать и прокручивать в уме целые эпизоды из прошлой жизни, заново их переживая. Вот и тут память услужливо предложила готовую кассету о том, что произошло между ним и этим юношей, к которому он отнесся как к сыну. Впрочем, уже не юноша - мужчина.

Было это... Постойте-ка... Два года назад. Точнее, два с половиной.

2.

Дворники не успевали сметать листья. На дверь Листопада, соседу Ипполита Акимыча, скульптору, кто-то тогда повесил дорожный знак для трамваев: "Осторожно, Листопад!"

Вполне рядовой (чего уж там!) и немолодой актер неожиданно ушел из театра на Малой Бронной. Ушел вторично. В первый раз - с этой же сцены, когда разгоняли Госет, Государственный еврейский театр, после убийства Михоэлса. Отсюда Ипполита Акимыча увезли в воронке и судили как пособника космополитам. Во второй раз он сам

устал и ушел в никуда, как отрубил. Судьба будто поджидала: через два месяца он потерял жену.

Вера, супруга его, служила в театральной бухгалтерии, ездила в банк за получкой актерам и сама ее выдавала. Возвращалась она ночью с премьеры, и на улице стало плохо. Сколько времени прошло потом, пока ее скорая подобрала, трудно сказать, только уже было поздно. Выдержала Вера лагерь, после которого на поселении они с Ипполитом сошлись. А по сию сторону колючей проволоки, когда и квартиру кооперативную отстроили, и мебелишкой обзавелись, отошла из жизни в небытие.

Пробыли они на Крайнем Севере сравнительно с другими недолго и, можно считать, выжили удачно. Запас молодого здоровья помог. На общих работах он провел не более шести лет, а по вечерам на сцене веселил мордастое лагерное руководство. Театр у них в Воркутинских лагерях, согласно воле начальства, был лучше вольных театров, в которых хороших актеров к тому времени пересажали. Ставили там на одной сцене драму, оперетту и даже оперу - на все зекон хватало. И рецензии в лагерной многотиражке на постановки печатали (само собой, без указания имен заключенных). Одна газетка у Ипполита Акимыча чудом уцелела: "С подъемом спел свою прощальную арию Владимир Ленский. Что касается Евгения Онегина, ему еще предстоит поработать над собой, побороться за досрочное освобождение".

Из-за своего курносого лица, некрупности и мягкости фигуры Ипполит Акимыч играл в советских пьесах отрицательных героев, которые, однако, успешно перековываются. Был он также рабочим сцены. Вера мыла полы, шила в костюмерной. То, что они нашли друг друга на Севере, помогло им дотянуть до амнистии, но детьми не обзавелись. Когда можно было рожать, рожать было нельзя. Потом дважды у Веры были выкидыши, пошли болезни. Врачи сказали, что поздно. От отсутствия детей театр они любили вдвойне.

Похоронив жену, справил Ипполит Акимыч нелепые поминки, повыл у себя в берлоге, пошел в церковь - не помогло. Что-то видно, отбили в сознании, назад не повернешь. Москва по чужим бедам не плачет. Стал куковать бобылем. Все вокруг поплыло сикось-накось. Но сдаваться он от одиночества не хотел. Попытался вернуться в труппу, чтобы не сиротствовать у себя на кухне. Оказалось, свято место пусто

не бывает. Его роли уже тарабанил парень из Ярославского драмтеатра, ухитрившийся, как сказывали, за неделю фиктивно жениться, прописаться в Москве и развестись.

Чтобы убавить ощущение одиночества, Ипполит Акимыч перестал запира́ть дверь. Даже забил молотком шуруп внутрь замка, чтобы случайно не защелкнулся. Засну, как Вера, и в квартиру никто не проникнет. Будут считать меня живым, а я давно того-с. Сосед скульптор Листопад старался его убедить, что жить в Москве без замка накладно. Ипполит Акимыч возражал:

- Ворью замки не помеха. Разве зеки в лагере запираются? Денег у меня нет. Кроме классиков, ничего дома не держу. Зачем домушникам классики?

После того, как в подъезде убили бутылкой по голове переводчика Костю Богатырева, все знакомые переполошились. Стали по два, по три дополнительных замка врезать.

- Убили Костю не случайно, это факт, - рассуждал Ипполит Акимыч. - Виден почерк наших доблестных органов. Что до воров, то драматург Александр Флаг у нас в кооперативе семь специальных замков имел. Когда на дачу съехал, дверь у него отжали с другой стороны и с петель сняли. А замочки целехоньки. Захочет судьба распорядиться, она это сделает.

Малочисленные друзья стали входить и раздеваться сами. Услышав голоса, он спешил им навстречу. Если просили, подыгрывал знакомым актерам, когда те учили роли. Но это случалось не часто.

Не зная, чем себя занять, он угрохал последние сбережения, оставшиеся после похорон, и купил подержанный бильярд. Бильярдный стол оказался большой - не для однокомнатной квартиры, даже если на нем есть и спать. Диван для спанья в углу все же остался. Но бить с боков по шарам можно было только коротким огрызком кия, который Ипполит Акимыч сам отпилил, чтобы не ударять в стену. Думал, приятели соблазнятся бильярдом и станут чаще навещать. Раз зашел Листопад - для вежливости. Остальное время бильярдист играл сам с собой.

Жить на что-то надо было, не голодным же гонять шары в лузы. Из Москвы в периферийный театр, где, может, и возьмут, уезжать глупо. Взялся вести драмстудию во дворце культуры, неподалеку от дома. На хлеб без масла, чтобы мизер приработать к пенсии. Набрал

старшекласников, начали читку водевиля прошлого века. Вот тогда и явился к нему хромой юноша в свитере домашней вязки, черном с красными полосками. Одно стекло в очках треснуло, мешало смотреть. Углы губ нервно подрагивали. То и дело поправляя очки, новенький сразу потребовал для себя главную роль.

- Так просить у актеров не принято,- мягко сказал Ипполит Акимыч.- А вообще, хорошо, что пришел. Нам как раз нужен такой типаж.

Сказал, чтобы не возникло никаких подозрений. Но тем самым взвалил на себя ношу. У каждого есть изъяны, и они препятствуют кем-то быть. Скажем, не стану я солистом балета со своим ростом. Не могу петь иначе, как дома, когда один. И мало ли чего еще не могу. Нет, разумеется, декрета: хромого не допускать на сцену. Но существует негласный запрет.

Все это так. Но отказать человеку в любительской студии, если хромает, нельзя. Почувствовал Ипполит Акимыч интеллигентным своим нутром, что ли: не возьмешь - будет травма души. Мальчик хочет приобщиться к святому огню, как взвалить на себя ответственность - отлучить?

Вечером, играя в бильярд, Ипполит Акимыч вслух советовался с покойницей Верой, как привык это делать всю жизнь. Ему казалось, она отвечала. А он ей возражал или соглашался, прерываясь только, чтобы загнать в лузу шар или выпить чаю. Поделился с ней сомнением о кандидате на роль французского графа. Она заинтересовалась, стала расспрашивать.

- Скажи, какая настырность у парня! Может, Поля, способности?

- Знаешь, - мысленно высказал он ей свое мнение, - у него губы подрагивают. Нервная организация тонкая, актерская. А товарищи его школьные говорят, он математик. Может, талант?

- Бывают таланты двухполюсные.

- На практике это невозможно, - возражал он. - В актерах ему все равно хода не дадут. Нельзя быть одиорукому гимнастом, глухому - Рихтером. Зачем обманывать? Вдруг он всерьез увлечется, бросит математику...

Уговаривала его покойная Вера мягко, словно взвешивая правоту мужа. Она даже нашла подтверждение своей мысли:

- Кстати, в театре у Мольера был хромой артист. Помнишь, Булгаков писал?

- О, господи, у Мольера! Булгаков мог и присочинить. Да, Осип Наумыч Абдулов хромал, большой артист. Но Станиславский не потерпел его у себя в театре и сказал: хромой артист обязан быть гениальным. Если актер гениален, он может убедить мир, что все здоровые люди должны хромать. Кто не хромает, тот инвалид! Кстати, после Осипа в его ролях другие артисты хромали, полагая, что иначе нельзя. Но прежде докажи, что ты гениален. Приди такой в театральное училище - комиссия будет гримасы корчить. Помнишь, как Зяму Гердта не хотели брать после фронта, одноногого? Взяли - в кукольный театр, за ширмой стоять.

- Есть вещи, Поля, которые человек сам должен в себе переступить. Осознать и отказаться. Это особенно касается недостатков физических. Вроде женской красоты...

- Разве ж это недостаток? - спросил он Веру, которую красивой нельзя было назвать, но и дурнушкой тоже.

- А то! Женщина берет за красоту награды, которых она как человек и не заслуживает вовсе. Присваивает себе незаконное право иметь лучших мужчин, которых другие достойны. И богаче жить. Но это растлевать. Умная женщина, пройдя через испытание красотой, очищается. А глупая становится шлюхой.

- Что ж мне с хромым-то делать? - перебил он ее.

- Возьми его, Поля, - сказал голос жены. - Не велик риск.

Странно, что ни он сам, ни даже ясновидящая жена, не оставившая его без советов и после смерти, не предвидели, что Радик, того не ведая, втянет Ипполита Акимыча в водоворот.

Для хромого пришлось переделывать в водевиле все так ловко придуманные мизансцены, чтобы Радик меньше ходил по сцене, сидел или стоял, когда раздвигался занавес. Это был режиссерский эксперимент с заранее заданным условием: одно действующее лицо привязано к стулу. Все приходилось делать незаметно.

Ипполит Акимыч боялся резким словом или слишком жестким требованием обидеть юношу. Он понимал, что иногда приносит ему в жертву остальных, но шел на это. Чуткость у труппы обострилась. Радик все воспринимал нервно, даже мелкие замечания. Краснел,

дулся и повторял сцену еще хуже. Его никак не удавалось отучить от излишней патетики.

Вечерами режиссер вслух обсуждал с отсутствующей Верой репетиции. Актерские способности у Радика не подтверждались. Конечно, Завадский был прав, говоря: актер - это человек, который говорит чужие слова не своим голосом. Но ведь и для этого нужен дар. Почему неспособный человек так фанатично рвался играть? Даже Вера ответить не могла.

3.

Народ в метро к ночи убывал. Поезда шли реже. Ипполит Акимыч все еще недружелюбно смотрел на сидевшего рядом с ним молодого человека, осознавая тем не менее, что сердится на него несправедливо. Как твердят французы, *cherchez la femme*. Ищите женщину. Ищите и обряцете.

- Как живешь, Радик?

- Знаете, кто такой зануда? - вопросом на вопрос ответил тот - Человек, которого спрашивают, как живешь, и он начинает объяснять... Кончаю третий курс мехмата.

- Постой-ка! Ты ж должен быть на втором?

- Я перескочил... Зря я тогда студию бросил.

- Без сцены скучаешь? - изумился Ипполит Акимыч. - Но не театр ведь тебя ко мне привел!

Уши у Радика порозовели. Он опустил голову и стал внимательно разглядывать под ногами затоптанный конфетный фантик.

Перед Ипполитом Акимычем возникла юная леди с алмазными голубыми глазами и кукольными ресницами. Жизнерадостная, легкая, пропорциональная. Бог дал грацию, походку, от которой у прохожих дух перехватывать должно. Неотразимая. При этом уверенная в себе, упрямая, вздорная, с адским характером, да что там - стерва. И по теории покойной Веры, вздорная и вредная именно оттого, что красива. Можно сказать, безнаказанно хороша. К тому же отец ее был крупным начальником во внешторге и постоянно шарил по заграничным сусекам. Сослуживцы баловали его и, конечно же, его дочь

подарками. Одевали ее родители - на зависть всем. Вот уж в кобылицу корм.

В старинном водевиле, который они ставили, Мальвина играла крепостную девуку. У французского аристократа в России с ней случается непредусмотренный его интуристовским планом роман. Мальвина себе цену знала. На замечания не реагировала, все делала по-своему. Красота уверена, что ей спишут все. Радик старался играть смешно и поэтому выглядел напыщенно и фальшиво. А она вела себя серьезно - и потому выглядела смешно. Но каждый шаг с ними давался трудно.

- Хватай ее решительней! Ты - француз, аристократ, а она крепостная девка. Не спрашивать же у нее, что с ней делать. Смотри!

Обняв Мальвину за талию, Ипполит Акимыч переворачивал ее себе на колено так, что юбка у нее задиралась до пояса, и показывал Радик, как требуется ее целовать.

- Чтобы звук от поцелуя был слышен в последнем ряду, понятно? А ты, доченька, не сопротивляйся, наоборот: твой долг его обслужить. Он же и-но-стра-нец! Импровизируйте на ходу. Вы - актеры. Плавайте на сцене легко, как рыбы в аквариуме. Считайте, что водевиль - ваша собственная биография... Поехали!

Труппа пританцовывала, надвигаясь на авансцену, и хором пела:

Куда это годится -
Гулять одной девице?
Что ждет ее потом?
Суп с котом!

Куплет этот комиссия, принимавшая спектакль, велела выбросить.

- Потом, - пояснил секретарь парткома, - нас всех ждет не суп с котом, а коммунизм.

Импровизации и намеки, которые они сообща придумали, тоже все выбросили. Дворец культуры принадлежал огромному военному заводу министерства авиационной промышленности. Там у них допуск к шуткам не давали.

Когда Радик с Мальвиной не были заняты на сцене, Радик сидел подле нее в пустом зале. Если они прорабатывали диалог вдвоем, Радик путался. А память у него завидная: раз прочитав,

запоминал целые сцены и подсказывал реплики другим. Ребята над ними потешались. Тогда Ипполит Акимыч сказал, так чтобы Радик и Мальвина не слышали:

- Только недостаточно умные над этим смеются. Лучше тихо завидовать. И помогать им дружить.

- Мальчик с девочкой дружил, мальчик с девочкой не жил, - прокомментировал кто-то.

Ипполит Акимыч поморщился. Старше их на целую эпоху, пройдя Воркутинские университеты, он старался быть им учителем жизни, а не одного актерства.

Ближе к генералке стало ясно, что Радик роль не потянул. Зря столько сил ухлопано. Однако на премьере Ипполит Акимыч сам удивился, и знакомые профессионалы, которые забежали одним глазом взглянуть, тоже отметили во французском аристократе нечто. Радик не хромал, это само собой, поскольку он по сцене не ходил, и в этом больше было заслуги режиссера. Разыгравшись, француз стал уверенней в себе, энергичней, даже веселей. Сцену с поцелуем сыграл по первому классу. Моя заслуга, с гордостью отмечал Ипполит Акимыч. Окупается внимание и добро. Да и роль переливается в человека настолько, что тот становится даже талантливей. Смотрите-ка, ожил, приобщился к священному алтарю.

Переоценил он тогда и театр, и себя. Роль тут была не при чем. Радика окрылила, сделала героем красивая бабочка Мальвина, сделала мимоходом, окропив пыльцой со своего крыла, не заметив этого и еще больше портясь от осознания такой своей инстинктивной способности. Небогатая душой, она помахала крыльшками, захваченная общим вихрем веселой премьеры: яркими красками грима, таинственным запахом кулис, легкой музыкой и аплодисментами. Радик летел за ней по-настоящему, вдыхая источаемые ею таинственные флюиды. Впрочем, скорей, то были хорошие парижские духи. Его чувство казалось ему вечным. А бабочка жила один день.

После закрытия занавеса Радик, чрезвычайно возбужденный, подбежал к Ипполиту Акимычу, волоча ногу сильнее, чем обычно:

- Не заметили, что я хромал!

- Ну, а заметили бы? Зрителю-то важно, какой души ты актер. Тело, мальчик, бутафория. Играешь ты вкусно!

Похвалил преждевременно. Пороху у Радика хватило на один са-
лют.

- Выходит, и ушел ты тоже из-за Мальвины? - констатировал
теперь Ипполит Акимыч безо всякого удивления, прикрыв глаза, чтобы
они отдохнули от мерцающего света люстр над платформой.

Радик поднял пальцем переносицу очков, уголки губ вздрогнули.

- Ей стало скучно в студии. Она сказала, что у вас детский сад,
помните?

Еще б не помнить! Даже больше, чем Радик предполагал. На
репетиции, когда разбирали ошибки премьеры, Мальвина вдруг пнула
ногой стул и заявила, что больше играть не будет.

- В чем дело?

- Я вам тет-а-тет скажу.

Он изящно взял ее под локоток и отвел в фойе.

- Что с тобой?

- Вы же умный человек, сами должны понимать...

Она умела говорить вежливо и при этом оскорбительно. Он не
считал себя глупым, но не понял.

- А все ж?

- Допустим, мне не нравится роль крепостной, над которой зал
потешается.

- Хочешь играть графиню? Но она же пожилая...

- При чем тут графиня? Не хочу на сцене целоваться. И все!

- Это ж театр. Сценические поцелуи - профессия.

- С ним - не хочу.

- Но он не Радик - француз! Такое у нас с тобой ремесло...

Поведа плечом, она не удостоила его объяснениями. Вздохнув, он
покорно согласился. Раз так, действительно лучше бросить. Посреди
репетиции Мальвина ушла. Не дано ему было предвидеть себе, что за
этим последует.

С уходом Мальвины Радик помрачнел. Из-за незначительного за-
мечания слез со сцены в зал. Еле закончили без них: Ипполит Акимыч
сам бросал Мальвинины, а потом и его реплики. Погасили софиты, а
Радик сидел в зале. Надев плащ и шляпу, режиссер подошел, поло-
жил ему руку на плечо. Плечо вздрагивало: Радик рыдал.

- Я попробую с ней поговорить, - не зная, как помочь, тихо ска-
зал Ипполит Акимыч.

Женская часть труппы чувствовала его мягкость и обычно липла к нему с доверительными разговорами. Вечером он отыскал в списке студийцев телефон Мальвины. Дома ее не было, просил передать, чтобы забежала в студию. Через пару дней Мальвина явилась к концу репетиции, разодетая, будто шла на дипломатический раут. Села в темном зале и смотрела. Радик, заметив ее, ушел. Когда режиссер освободился, подошла.

- Бабушка сказала, вы звонили. Ну?

- Что если, - предложил он, - прогуляемся до метро?

Галантно подал ей меховую жакетку, накинул плащ сам, и они вышли на улицу. Сыпался мягкий снег, последний в ту весну.

- Мадемуазель! - начал он издалика. - Человеческие отношения сложны.

- Вы в этом уверены? - прыснула она.

- Уверен, деточка. Не умеем мы ценить то, что на дороге не валяется и в комиссионке не купишь.

- Чего не купишь?

- Например, симпатию, искреннее чувство.

- Вы о себе или... - Она элегантно повела пальчиком в воздухе, - Или от имени Радика?

- Радика, - он одновременно испугался и поразился женской проницательности.

- Ну и мужчины пошли! - Мальвина вдруг перестала кокетничать. - Он же... В общем, мне неудобно... Он - ничего, и я ему нравлюсь. Само собой. Но ведь не-кра-си-вый...

- Как так - некрасивый?

- Ну, хромой...

- А Байрон? - возразил он. - Байрон тоже был хром. Ты читала Байрона?

- Слыхала, - уклончиво ответила она. - Я больше уважаю Асадова.

- И твой пример против тебя. Асадов-то слеп. А Пушкин? Знаешь, Пушкин был совсем маленького роста, но как его любили женщины!

- Сравнили: Пушкин и этот! Да, мне стыдно с ним гулять. И потом, мать у него в нашей школе простая училка.

- И что?

- Социальное неравенство - вот что. Я его даже домой не могу привести. Что родители скажут?

Радика было жаль. Для этой прозрачной бабочки он готов был променять математику на театр, театр - на что угодно...

- Прости, что я затеял этот разговор, - тихо сказал Ипполит Акимыч. - Ни к чему!

- Это уж точно.

- Может, вернешься в студию?

- Дудки!

- Куда после школы, деточка? - он переменял тему.

- Я-то не пропаду! - подмигнула ему она.

Замена для крепостной девушки оказалась плохой. Радик пришел еще на одну репетицию и тоже исчез, не сказав "до свидания". Ничего в нем, выходит, не было актерского, кроме подрагивающих губ. Пришлось отменять спектакль, на который дворец культуры уже распространил пригласительные билеты. Студия развалилась. Директор дворца, в прошлом известная стахановка и профсоюзная лидерша, списанная по старости, заявила Ипполиту Акимычу, что он негодный организатор.

Но не тогда и не из-за того между ним и Радиком черная кошка пробежала. Это произошло чуть позже.

4.

Перед сном Ипполит Акимыч обсудил с покойной Верой уход Радика. Тень жены сказала:

- Видишь, я, как всегда, оказалась права, Поля: бесполезно было этого человека брать. Хорошо хоть, что он сам понял и не пришлось ему объяснять. Это было бы неприятно.

Он не стал ей напоминать, что раньше Вера говорила противоположное.

- Нет, - упрямо сказал он вдруг вслух, резким ударом коротенького кия загнав шар в лузу. - Надо было! Из человеческих сообщений. И аз воздам.

Вера, будь она жива, пожала бы плечами и промолчала. Она всегда так делала. Несколькими днями позже он бы и сам так уже не сказал. А тогда, потеряв последний копеечный заработок, негод-

ный организатор утешался тем, что он не такой уж плохой педагог. Ну, не привилась любовь к святому искусству. Зато прав, наверно, Экзюпери: важно само по себе человеческое общение. Сцена научила их чувствам, облагородила души. Это не пропадет.

Он лег спать, почитал немного, опустил книгу на тумбочку, погасил свет, начал медленно уходить в сон. И тут почувствовал, что он в комнате не один. Может, кошка с соседнего балкона перебралась да в форточку прыгнула? Он ее иногда колбасной кожуркой прикармливал. Ан, нет, одежда шуршала возле двери.

- Кто тут? - с недоумением спросил он.

Этот кто-то хмыкнул, но не отвечал. Пришлось зажечь свет и сразу зажмуриться. Не от лампы, от зрелища: женщина юная и вполне обнаженная стояла в двух шагах от его дивана, в позе статуи из какого-нибудь Лувра, в котором Ипполит Акимыч сроду не бывал. Уперев пальчик в зеленое бильярдное поле, она сложила губы трубочкой, словно готовясь к поцелую. Вот так кошка!

- Ма... Мальвина? - прошептал он испуганно. - Как вы сюда попали?

- Через дверь, - она удивленно пожала плечом, груди у нее качнулись и снова замерли.

- А чего же вы хотите?

- Вас.

- В каком же смысле, позвольте спросить?

- В прямом.

- Да ты что, деточка. Одевайся сейчас же! И ступай домой.

Она сделала шаг вперед, и теперь ее колени были совсем рядом с его лицом. Она наклонилась, улыбаясь озорно и самоуверенно. Сильные духи смешались с водкой, - не поймешь, чем пахло сильнее.

- Уйду, но только после...

- Чего?

- А того! Или я вам не нравлюсь, как женщина?

- Несовершеннолетняя! - возмутился он. - Меня опять посадят - этого добиваешься? Ты ж ребенок!

- Сами вы ребенок, - она ласково склонилась над ним. - А мне почти семнадцать. Если будете сопротивляться, я закричу и тогда... вам же хуже.

В чувстве юмора ей отказать было нельзя. Но ему было не до юмора.

- Нехорошо без любви, - защищался он. - Как это без...

- А я вас очень люблю, - усмехнулась она прямо-таки по-матерински и коснулась соском его губ. - Вот так. А то много разговариваете, и без толку.

Мальвина по-хозяйски откинула край одеяла.

- Хватай ее решительней! Ты француз, аристократ, а она крепостная девка. Не спрашивать же у нее, что с ней делать. Смотри!

Скопировав его интонацию, она набросилась на него, не как ребенок, а как хищная львица на загнанного оленя. Он стонал, а она посмеивалась, и тень ее, спроецированная лампой, стоящей возле дивана, качалась на потолке.

- Странное у тебя имя, - чуть позже она опять превратилась в бабочку, сложила крылья и поцеловала Ипполита Акимыча в щеку. - Никак не сократишь.

- Жена меня Полей звала.

- Так ведь Поля - женское, - она захохотала.

- И что?

- Ничего! Мне домой пора, а то родители станут орать. У тебя хоть пятерка на такси найдется?

Мальвина похватила свою одежду, разбросанную по всему бильярдному полю и исчезла на кухне. Вернувшись, закурила сигарету и, выпустив дымовую завесу, спросила:

- Ну, и как? Понравилось? Да, чтоб не забыть. Я в театральное училище поступаю, мне рекомендация нужна.

- От меня?

- Не, вы никому не известный, - в одежде она опять перешла на "вы". - От какого-нибудь знаменитого, который может взять за горло председателя приемной комиссии. Вы с ними со всеми вась-вась. Найдите подходящего, ладушки?

И она растворилась за дверью так же быстро, как появилась.

По инерции Ипполит Акимыч хотел было тут же посоветоваться с покойницей Верой насчет происшедшего. Но сообразил, что это несколько бестактно, хотя она его наверняка бы не только простила, но и поощрила. Засыпая, он думал, что в постели Мальвина гораздо талантливее, чем на сцене. Что ж? И гетерам, и гейшам тоже необ-

ходим профессионализм, включая гетера-советикус. Этот талант иногда совпадает с профессией актрисы и помогает продвигаться. Жаль только, что лучшие роли таких актрис зрителю чаще всего не видны.

Странные водевили разыгрывает, однако, жизнь. Только что без куплетов. Такое не сочинишь. Хмыкая, размышлял Ипполит Акимыч на эту тему все последующие дни, разглядывая Мальвину на трех премьерных фотографиях, которые он вывесил над кухонным столом. Друзья его позабыли, да и вряд ли бы он с ними поделился.

Он заваривал крепкий зеленый чай, настраивался на "Голос Америки" и по привычке отвлекался новостями. Но если честно сказать, он все время ждал, что Мальвина вот-вот звякнет и спросит насчет своего поручения. Он уже разыскал Попова, и тот по старой дружбе обещал звякнуть и попросить, кого надо. А Мальвина не звонила.

Конечно, она пустая, но, в сущности, добрая, щедрая. Я поступил нехорошо, безвольно. Дак не мог же я отказаться и ее обидеть. Она ребенок, но - женщина. Можно оскорбить на всю жизнь. Она меня действительно в тот момент любила. И ее поступок, если разобраться, это забота обо мне, желание напомнить мне, что я еще не развалина. Предпочла меня наивному мальчику, и это тоже ей плюс. По мужчине судят об уровне женщины. Я ее недооценивал. Ведь человек, способный на заботу о другом - личность. Вера насчет красоты была не совсем права.

Он не заметил, что постепенно стал думать о Мальвине более серьезно. Нормальной юности у него не было, жизнь прошла наперекосяк. Но вдруг сейчас получится что-то наверстать? Может, это мне награда за прошлые лишения, за обделение радостью?

Взяв у приятеля займы две сотни, он купил в ювелирном магазине колечко с симпатичным камушком. Кольцо лежало, дарить его было некому. Он забеспокоился: не звонит, не случилось ли чего? Поколебавшись и выждав еще несколько дней, он решился и вечером, когда от одиночества скреблось на сердце, набрал ее номер. К телефону подошла бабушка.

- Нету ее! - раздраженно ответила она. - Почем я знаю, когда будет. Все спрашивают, она не говорит

Не в тот вечер, но после нескольких попыток он Мальвину застал. Начав говорить, сразу засмутился.

- Приветик! - легко ответила она ему как сверстнику, жуя что-то и облизываясь. - Нормальненько... У-у, сегодня я занята. Завтра? Завтра позвали в дом актера. После? Откуда мне знать, когда... Как-нибудь увидимся, ладушки?

- Приходи, - с трудом попросил он. - Когда сможешь. Дверь открыта.

- Это я знаю... Пока!

Звонок, как и следовало ожидать, ничего не изменил. Про народного артиста, которого он просил за нее похлопотать, даже не спросила. Может, сама уже нашла протезе? Свободного места в ней нет, это очевидно. Он сыграл роль подкидного дурака и уволен. Но тут же придумалось и спасительное утешение. Ради баловства, случайно оказавшись рядом, она вполне может открыть дверь, чтобы похвастать тем, чем Бог ее наградил.

В бильярд играть Ипполит Акимыч расхотел. Не находил покоя, слоняясь по комнате и кухне. Глядел на фотографии - и Мальвина казалась ему совершенством. Гадал только о том, придет она сегодня или нет. А поскольку сегодня она не пришла, то, может, заглянет завтра? Ясно, что она ему не только не пара, но и вообще не то существо, на котором можно себя сосредоточить. Да сколько ни осуждал он себя, его только больше к ней тянуло. Семя нереализованной, загубленной в вечной мерзлоте молодости неожиданно пробудилось в новой почве и искало выхода. Возраст перечеркнулся, время затуманилось. Пенсионер-подросток (так он себя теперь величал) потерял нить, за которую цеплялся, бредя по жизненному лабиринту.

Кошмары стали одолевать. Он метался от покойницы Веры, которая постоянно оставалась с ним, к живой, но отсутствующей Мальвине и обратно. Дабы успокоиться и убедить себя, что нынешняя жизнь не так уж плоха, он возвращался мыслями в лагерь. Туда, где у него украли жизнь.

Но вот парадокс. Тяжко было голодному по утрам месить грязь в худых мокрых ботинках, подвязанных веревками, под ругань озверевших охранников и лай откормленных собак. Но по вечерам дрова шипели и разгорались в печи, ирреальная жизнь происходила на теплой сцене, спасительная радость творчества заглушала унижения и тоску. Говорят, не настоящее искусство существовало в лагере, игра в театр. А где оно, настоящее? Там страх заставлял хорошо играть.

Там, несмотря на все ужасы бесчеловечного бытия, в каморке за занавеской он, расконвоированный, был счастлив с Верой. Там у него была надежда. А тут жизнь лишилась стремлений, и он превратился в затворного, никому не интересного облезлого кота, которому раз досталось полакомиться чужой симпатичной кошкой.

Мальвина изымалась им из сознания целиком и категорически. Но бабочка влетала по ночам в незапертую дверь, меняя образы, и делала с ним, что ей заблагорассудится, как опытная женщина с мальчиком. Он кричал, метался, вскакивал,пил корвалол. Он перестал спать. Начал по ночам играть в бильярд, да вскоре пришлось прекратить. Соседи явились с жалобой, что их будят удары.

Он понимал, что Мальвина не придет, но запретить себе ее ждать не было воли. Оставался один выход, чтобы избавиться от видений и беззащитности: оградить себя колючей проволокой и поставить охрану. Ипполит Акимыч решил приобрести новый замок. Купив его, договорился с плотником в домоуправлении, что завтра тот придет и врежет. Цена стандартная: стакан бормотухи до и стакан после плюс червонец. Ипполит Акимыч сходил за угол, отстоял с районными алкашами в очереди и купил бутылку.

Все повторяется на свете, но иногда декорации обновляются.

Не читалось, и Ипполит Акимыч, отшвырнув газету, погасил свет. Начал медленно и сосредоточенно считать про себя, чтобы заснуть, когда ухо уловило, что дверь шаркнула. Сердце у него заколотилось. Он догадался, а может, уловил запах или едва слышный смех. Затаял дыхание, предвкушая нечаянную радость.

- Не спите? - спросила она, хохотнув.
- Пришла? Наконец-то, умница...
- Хотела звякнуть из автомата, но вы же все равно дома.
- Конечно, я дома!

Он не спешил зажигать свет, уверенный, что все будет сразу, как в прошлый раз.

- Где тут выключатель?
- Хочешь есть, пить?
- Не, я из кабака. А вообще, можно... Заготовлено?
- А как же! Сыр, вино...

В темноте он надел халат, завязал пояс. Глядя в ее сторону, чтобы увидеть захватывающее зрелище, которого так долго ждал, он

включил свет. Мальвина была в кожаной куртке, джинсах и сапогах - эдакая мотоциклистка из импортного журнала.

- Секундочку, - вспомнив, загадочно произнес он.

Торжественно извлек из серванта колечко в коробочке и протянул ей.

- Мне? - она удивленно выгнула губы. - Ну, вы даете! За что?

Хихикнув, она, не открывая, спрятала коробок в карман.

- Вы уж извините, что я вас разбудила, - вежливые формулы звучали странно в ее устах, она их никогда не употребляла. - Пардон!

- Что ты! Я так рад. Знал... То есть, хочу сказать, ждал, что придешь. Скучал...

- Я тоже.

- Правда?

Он подошел к ней, положил руки на плечи.

- У меня к вам просьба, - взгляд ее скользнул по бильярдному полю. - В общем...

- Говори! Для тебя - все...

- Все не надо. Вы не можете смыться на час-полтора?..

- Смыться?

- Не пугайтесь! Мне с человеком побыть надо. Ну, по-го-во-ритель-Ясно?

- Да, конечно...

- Вот, и ладушки.

Краска бросилась ему в лицо, и в глазах появились слезы от волнения. Он растерялся. Рассердился больше сам на себя за бесхарактерность, чем на нее. Она - ребенок, сразу бы найтись, сказать: "Нет, конечно! Категорически нет!"

Но она уже выскочила в коридор, открыла дверь.

- Входи. Он сейчас отвалит.

Услышав о себе в третьем лице и еще не вняв до конца сути происходящего, Ипполит Акимыч обреченно сел на диван и ждал. В дверях, подталкиваемый в спину Мальвиной, показался Радик. Мальвина хихикнула.

- Вы что, будто не знакомы?

- Как же, встречались...

- Понимаете, звонит мне и звонит, - она захохотала. - Просто преследует. Надо же выяснить отношения. Какой самый лучший способ, чтоб мужчину отвадить? Ну? Правильно! Сыграть с ним в бильярд. Радик, умеешь?

- Простите, - выговорил, наконец, Радик, глядя в пол. - Я не знал, к кому мы...

- Ничего страшного, понимаю, - засуетился Ипполит Акимыч. - Это жизнь, не водевиль. Посидите на кухне, я сейчас...

Кряхтя, он надевал на себя все, что попадало под руку. Натянул свитер. Потом, задумавшись на секунду, понял, что гулять ему предстоит долго, и взял плащ, шляпу, зонт. Часы на серванте показывали второй час ночи.

- Я ушел, - крикнул он из коридора.

Мальвина появилась на пороге кухни.

- Как это все-таки запирается? - она кивнула на дверь.

- Никак, - сказал Ипполит Акимыч. - Замок поломан. А зачем?

- Ну, мало ли... - она надула губы. - Вы бы сделали замок, что ли.

- Конечно, само собой, - согласился он. - Ты, деточка, права. Уже купил новый. Завтра плотник врежет.

- А сигарет у вас нету?

Сигарет у него не водилось.

Часа через три, когда небо уже посветлело и звезды растаяли, Ипполит Акимыч, всласть нагулявшись по всем близлежащим улицам, решил вернуться. Квартира была пуста, бутылка вина тоже.

Больше он своей Мельпомены не видел.

5.

В метро стало совсем безлюдно. Часть люстр погасили. Ипполит Акимыч тяжело поднялся со скамьи. Он еще таил обиду и вместе с тем чувствовал вину перед Радиком. Странно, что этой вины раньше не было. Соединившись, оба эти чувства теперь уничтожили друг друга. Ничего не осталось, пустота. Треугольник без ревности. Задержал руку поднявшегося за ним со скамьи Радика в своей, поколебался: спросить или не спрашивать? Посмотрел Радика в глаза.

- Как поживает... Мальвина?

Радик отвел взгляд.

- Сперва обещали протолкнуть ее в театральное училище. Она поступала, но не прошла. Потом отец пристроил ее по-быстрому в "Интурист".

Выходит, народный артист Попов не помог: не смог или обманул.

- А почему - в спешке?

- Чтобы по больничному получать. Она сразу ушла в декрет.

- Стало быть, замуж вышла?

- Так родила. Девочку.

И треугольника не осталось. Один острый угол.

- От кого? - чуть слышно выдавил Ипполит Акимыч.

- Сказала, как дева Мария, непорочно. Я ей звонил - все отвечала, что занята. Раз спросил: когда освободишься? Она ответила: "Никогда".

- А зовут как девочку-то?

- Полина. Я думал, вы слышали...

- Нет, - отрывисто сказал Ипполит Акимыч, и у него заколотилось сердце. - О Мальвине слышать не довелось.

Они разжали руки. Радик резко повернулся и побежал. Он не прихрамывал.

- Пстой! - крикнул Ипполит Акимыч, еще раз изумившись. - А нога?

- Нога? - обернулся тот. - Мне операцию сделали. В Таллинне нашли хирурга - ногу удлинил. Теперь вам со мной не пришлось бы мучиться.

Радик на прощанье кивнул и шагнул в дверь остановившегося поезда.

"Астаррожна, дввери закрываюцца! Следующая станция - "Динама".

- Полина, - пробормотал Ипполит Акимыч сам себе. - Поля...

Механически приподняв шляпу, он растерянно поглядел Радиду вслед и побрел к выходу. Рука сама опустилась в карман и нащупала кусочек веревочки. Квартиру Ипполит Акимыч теперь всегда запер на ключ и больше всего на свете боялся потерять ключ.

МОЙ ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

1.

Позвонила незнакомая женщина, судя по голосу, пожилая. По имени себя не назвала, сказала, что ее муж велел со мной встретиться. Я осторожно поинтересовался, а кто, собственно, ее муж. Она ответила, что скажет потом. Пригласил ее к себе, но она отказалась: лучше на улице. На другой день мы увиделись на площади Революции, возле лестницы, ведущей к ГУМу.

Была она с меня ростом, а я не маленький. Возраст неведом, лицо без краски. Из породы худощавых старух, для которых время остановилось. Под маленькими бесцветными глазами мешки: может, что с почками.

- Давайте отойдем в сторонку, чтобы не толкали, - предложил я.

- Нет, тут лучше, - твердо возразила она. - В толпе нас не так видно.

Глаза у нее бегали, и я подумал было, что у нее, может, не совсем в норме психика. Но она словно прочитала мою мысль.

- Не бойтесь, я в здравом уме. Очень даже в здравом.

- Не сомневаюсь, - я старался ее успокоить. - А в чем все-таки дело?

- Муж велел передать вам вот это, - оглянувшись, не следят ли за ней, она протянула сверток. - Конечно, лучше бы это уничтожить от греха подальше. Но он так пожелал. Боюсь я не выполнить последней его воли.

Приняв сверток, я тоже инстинктивно оглянулся.

- Да кто ваш муж-то? И сам он где?

- Умер. Неделю назад.

- Извините... А я знал его?

- Он говорил, вы вместе работали.

- Не сказал, где?

- Как же - в газете. Он был у вас цензором, то есть, я хотела сказать, уполномоченным Главлита.

- Цезарь Матвейч? Боже ты мой! Замечательный был, добрейший человек, - безо всяких колебаний кривил я душой. - Все его любили.

Наверно, в голосе моем было недостаточно искренности.

- Он был абсолютно честный и порядочный, - резко сказала она.

- Так получилось, что он попал в эту организацию. Не его вина.

- Конечно, - согласился я. - В общем-то мы все занимались одним делом. А что в свертке?

- Не знаю, - ответила она. - То есть что это я несу? Знаю, разумеется: это его, ну, как бы сказать, записки.

- Воспоминания?

- Не совсем. Сперва это был его личный производственный дневник. Но после... После он говорил, что все стало смотреться иначе и что эти записки его реабилитируют перед... Она смутилась, умолкла.

- Реабilitируют? - переспросил я.

- В общем, чтобы внуки о нем плохо не думали. Поэтому приказал, чтобы вы делали с ними все, что захотите. Я была против, у нас ведь дети, у них все благополучно. Мало ли что? Но дети тоже ре-

шили, как он... Что вы все вертите сверток в руках? Спрячьте в портфель!

Я послушно спрятал. Нам все-таки пришлось отойти в сторону, потому что нас толкали. У музея Ленина мы постояли еще несколько минут. Она спокойно, сказал бы даже, отстраненно (что делало ей честь) поведала о том, как закончил свои дни ее муж.

- Он хорошо умер, быстро...

Я никогда до этого не слышал, чтобы так говорили о близком человеке: "Хорошо умер". И мне стало не по себе.

- Как это "хорошо"? - спросил я.

- Тихо. Не мучился, как другие. Сердце - и все. Всем бы так... А вы когда это... туда?

- Уехал бы сегодня, да не выпускают.

- Выпустят! - убежденно сказала она.

- Могу я вам позвонить, когда прочитаю?

- А разве у вас есть наш телефон? - опять встревожилась она.

- Нету, но...

- Ну, - заспешила она, - Это ни к чему. Я вам все отдала. Желаю, чтобы у вас все получилось, как задумали.

Резко повернувшись, она ушла.

2.

Держась за поручень в вагоне метро, я прикрыл глаза, и передо мной возник Цезарь Матвеевич Цукерман. Или Цензор Матвеевич, как звали его вся редакция. Еще он был Цензор Цезарь, сокращенно Це-Це. Был также эвфемизм "Заведующий тем, чего нельзя". Некоторые звали его просто Цука. А главный фельетонист Аванесян в узком кругу величал его "наш советский Сахаров".

Цукерман был грузным, неторопливым, непременно учтивым человеком. Напоминал он главбуха. Всегда ходил в черных нарукавниках поверх коричневого пиджака. В волосатых руках держал термос, из которого наливал чай по глотку. Еще помню его раздражающую привычку то и дело подтягивать галстук под свой двойной подбородок, будто он сейчас выйдет на трибуну или готовится войти в кабинет к высокому начальству. "Это он хочет сам себя удушить за содеянное", - ворчал Аванесян, которому доставалось от цензора чаще других.

Честили его при каждом удобном случае, за глаза, конечно. Обвиняли в том, в чем лично он был виновен ничуть не больше всех нас и многих прочих. Лицом к лицу, однако, весь штат, включая главного редактора и замов (нештатным сотрудникам с ним разговаривать не полагалось), держал с ним дистанцию. Или цензор держался с нами особняком.

Нельзя сказать, что его боялись, - он был исполнитель низшего звена. Ничего разрешить он по статусу своему не мог. Но он мог воспрепятствовать. Как от врача-онколога, от него в любой момент можно было ждать неприятности.

С ним редко спорили, ибо шанс доказать что-либо был равен нулю. За ним стояла могучая и таинственная организация, которая называлась Комитет по охране гостайн в печати. Ведомство это знало все, чего нельзя, и даже, вероятно, знало то, что можно, и это абсолютное, не известно как добытое и кем узаконенное ведение, эта невидимая и всесильная власть над умами пишущих и читающих, вызывали к представителю данного ведомства почтение. Может, трепет. Может, страх. А скорей всего, то, и другое, и третье вместе взятые.

Все происходящее в мире на языке Цезаря Матвейча называлось сведениями. Сведения он делил на устные и письменные. Устные он любил, включая анекдоты. Громко и заразительно смеялся, прямо-таки трясясь от смеха и вытирая слезы, что доставляло рассказчику несомненное удовольствие и побуждало вспомнить что-нибудь еще более солененькое. И - панически боялся всего, что написано или набрано.

Если возникала опасность, о которой вы и не подозревали, рот его суровел, глаза холодели, становились зорче. Он шумно и долго втягивал воздух через ноздри, будто стремился запастись им аж до светлого будущего. Конечно, оно было не за горами, но все же лучше запастись. Казалось, сейчас он достанет специальный инструмент, какой-нибудь инфракрасный бинокль, чтобы разглядеть насквозь не только текст, но и вас. Он действительно вытаскивал большую лупу и, если какая-нибудь буква в самых ответственных словах вроде "Ленин", "Брежнев" или "Политбюро" отпечаталась не полностью, долго вертел набор под увеличительным стеклом, разглядывая его так и эдак, проникая в тайный смысл неясного знака.

- В каждой букве заложена опасность контрреволюции, - говорил он на совещании и, видя улыбки присутствующих, добавлял. - Каждая буква - это бомба. Это я вам говорю со всей ответственностью, я, ваш советчик и друг.

- Но как же нормально работать в такой взрывоопасной обстановке? - спрашивал кто-нибудь. - Мы же не саперы.

- Недоумевать не надо, - назидательно отвечал он. - Я скромный страж интересов государства. А поскольку у вас с государством не может быть конфликта, я защищаю от беды и вас.

В путевом очерке спецкора Шумского цензор Цезарь велел вычеркнуть, что от Москвы до Ленинграда по шоссе 707 километров. "Чтобы американские шпионы заблудились", - прокомментировал друзьям Шумский.

Секретной была длина экватора земного шара. "Это же стратегические данные", - объяснял он. А если возразить, что эта цифра есть в учебнике для четвертого класса, он бы ответил: "Значит, там она согласована". Или: "Вчера это можно было разглашать, а сегодня, уже нельзя".

По поводу каждой цифры, факта, имени, события, каждого названия Цезарь Матвейч требовал одного: визы соответствующего компетентного ведомства. А когда ему пытались терпеливо объяснить, что, по меньшей мере, в отдельных случаях это абсурдно, Цезарь Матвейч с улыбкой отвечал:

- До - я верю вам. Но после - с работы снимут меня.

Ему говорили:

- Чего вы трясетесь?

А он в ответ:

- Лучше трястись в теплом кабинете, чем от холода на улице.

Его стыдили:

- Ну, вы и трус!

- По-вашему трус, - спокойно возражал он. - А по мнению моего руководства, я бдю.

"Бдю" в редакции стало нарицательным. Его афоризмы разносили по отделам.

Однажды он произвел на свет мысль, которая, по-моему, имела основополагающее философское значение для земной цивилизации. А может, и для всей вселенной тоже.

- С точки зрения цензуры, - высказался он, - идеальная газета - это бумага без текста.

- Может, хоть картинки? - осторожно спросил я.

- Картинки - это уже криминал.

Обмануть цензора, подвести под монастырь считалось в редакции подвигом. Рисковали отчаянно: подделывали разрешающие подписи, клялись, что разрешение уже есть, только нет свободной "разгонки" - дежурной машины, чтобы съездить за полученной визой. Уговаривали его подписать, чтобы не срывать выпуск газеты: через пять минут принесем. Вычеркнутое им переставляли в другое место той же статьи в перефразированном виде в расчете на то, что он не будет читать второй раз.

Я тоже так делал, но может, реже других: я сам боялся очутиться на улице.

Когда ему вlepляли очередной выговор за недобдение, эта радостная весть мгновенно облетала редакционные кабинеты. Наиболее нахальные звонили ему и поздравляли, изменив голос, конечно. Он злился, грозил карами руководства за оскорбление чести и достоинства органа, которому он принадлежит, и бросал трубку. Но обиды быстро забывал и, надо отдать ему должное, мстительным не был. А мог бы быть.

Для всякой профессии надобны природные данные, облегчающие работу. Чего у него не было в помине, так это чувства меры в бдении. Поэтому он никогда не расслаблялся и подвох видел во всем. Однажды, когда я дежурил по отделу, он позвонил в десятом часу вечера по внутреннему телефону:

- Вот тут в статеечке по вашей части я читаю о том, что завтра мы встретим на улице лошадь-робота и не отличим от настоящей. Оч-чень интересно. А кто ж такую лошадь проектирует?

- Да это фантастика.

- Понимаю. А где автор взял идею?

- Где взял? Ну, из головы...

- Отлично! А в головку ему идейка эта откуда попала?

- О, мамочка! Из воздуха.

- Вот! - он уличил меня в чем-то нехорошем. - Точно! Значит, автор мог об этой идейке у-слы-шать.

- Допустим, мог. Какое это имеет значение?

- Это имеет такое значение, - торжественно проговорил Цезарь Матвейч, - что лошадь где-нибудь проектируют, а он слышал.

- Ну слышал. И что?

- А то, что нужна визочка НИИ, который такую лошадь раз-ра-ба-ты-ва-ет.

Черт дернул меня ляпнуть "из воздуха". Дело пахло керосином. Статья вылетала из полосы перед самым ее подписанием. Надо было это предвидеть.

- Вспомнил! - бодро воскликнул я. - Автор говорил, что он сам это придумал. Абсолютно точно, сам. Он еще уточнил, что ночью его озарило, встал и записал.

- Он что, лунатик? Не пудрите мне мозги, дорогуша. Мы же с вами материалисты. Из ничего ничего не получается. Я вам гарантирую, что он как минимум где-то подхватил. А если это еще не запатентовано и заграница, извините за выражение, сопрет?

Он употребил другое слово, более грубое, которое я воспроизвести не решаюсь.

- Допустим, подхватил, - отступал я. - Что тут страшного?

- Как что?! А если он подхватил идейку от людей, работающих в почтовом ящике? Если это изобретение стратегического характера? Допустим, какая-нибудь новая технология для конницы Буденного. Знаете, какой сие пункт? Подрыв обороноспособности страны. Разглашение сведений, представляющих собой военную и государственную тайну. О!.. Чувствуете, чем это для нас с вами пахнет?

- Ну, и какая же вам требуется виза? - сдаваясь, спросил я. - Министерства обороны?

- Это, голуба, деловой разговор. Сейчас запросим руководство. Не вешайте трубочку, ждите.

Из трубки доносилось жужжание диска городского телефона.

- Варвара Николавна? Цукерман беспокоит. Передо мной статья, разглашающая сведения о том, что завтра выведут на улицу искусственную лошадь. Так-так... Сейчас узнаю.

Теперь Цезарь Матвейч говорил в мою трубку:

- Какая тут у вас лошадь? Электронная?

- Черт ее знает! Наверно, электронная, какая ж еще?

- Электронная, Варвара Николавна... Ага... Уловил... Я и сам точно так полагал.

- Ну, что? - нервничал я.

- То, дорогуша моя, что нужна визочка Министерства электронной промышленности, что они эту лошадь не разрабатывают.

- Где же я возьму такую визу в десять вечера?

- И не надо сегодня. Зачем спешить, паниковать, нервничать? Гипертония этого не любит. В суете можно просмотреть еще что-нибудь важное. Сегодня мы эту лошадь спокойненько снимем. Ну ее, к лешему, вашу лошадь!

- А завтра, с визой министерства, можно поставить в номер?

Все же у меня были кое-какие связи с неглупыми людьми в министерствах, которые могли помочь. Без таких связей они бы согласовывали визы годами

- Завтра что? - насторожился цензор.

- А то! - злился я. - Может, это делают в Министерстве приборостроения и средств автоматизации.

- Во! И меня это беспокоит. Знаете что, голуба, для подстраховки добывайте визочки обоих министерств. А тогда я снова позвоню руководству, и они укажут, куда еще обращаться.

На мое несчастье, газета печатала фантастику, и этим занимался мой отдел. Если в очередном рассказе на Землю летели представители иной цивилизации, вечером звонил внутренний телефон и хриловатый голос Цукермана вежливо интересовался:

- Роднуля моя, а в Генштабе в курсе, что к нам летят из созвездия Андромеды?

- Не только в курсе, Цезарь Матвейч, но и ничего не имеют против этого.

- Вот и добро! Значит, никаких трудностей у вас не будет. Давайте-ка мне визочку военной цензуры с улицы Кропоткина.

Но была обширная категория сведений, по которым ни виз, ни согласований не требовалось. Цезарь Матвейч начинал хрипло мурлыкать себе под нос какую-то невнятную мелодию и под нее уходил в соседнюю комнату.

- Так я и думал! - он появлялся в дверях и поднимал указательный палец вверх. - Все в порядке. Не надо визы, не надо согласовывать. Это, голуба, просто нельзя упоминать в открытой печати, и все. Вам же легче, меньше хлопот.

И правда, за годы работы опыт "чего нельзя" накапливался. К цензору ходили все реже.

- Жизнь не мила, когда надо идти к Его Величеству Кастратору,
- жаловался Аванесян.

Возвращался он счастливый:

- Эта тема тоже обрезана. Я, ребята, становлюсь евнухом.

Фантастика захирела. Наука вымерла. Мысли зачахли. В газете становилось все меньше даже невинных новостей. Ведь на публикацию их каждый раз требовались визочки. При этом никто подчас не знал, в каком учреждении их взять. Вскоре появилось инструктивное письмо, требующее представлять одобрения соответствующих ведомств в цензуру за несколько дней до предполагаемого опубликования для регистрации в специальном журнале и уведомления центрального руководства.

Цезарь Матвейч с термосом в руках гулял по коридору удовлетворенный:

- Чем больше визочек, тем меньше нервочек.

В отпуск он не ходил. А когда его с приступом гипертонии неожиданно положили в больницу, в редакции появилась симпатичная девушка лет двадцати пяти, коротко стриженная, строго одетая, но со славной мордашкой. Ее прислали с Китайского проезда от Варвары Николавны на временную замену.

- Литснегурочка из Главлита, - сказал Аванесян. - Будто мы не могли воспитать цензора в нашем собственном коллективе.

Аванесян всегда, к месту и не к месту, вспоминал, что он незаконный потомок Пушкина. Что его прапрабабушка согрешила, когда тот был на Кавказе. Это нельзя было ни доказать, ни опровергнуть. Но он носил такие же бакенбарды и звали его, между прочим, тоже Александр Сергеевич. Словом, Аванесян отправился на разведку, прихватив с собой давно опубликованный и, как он сам считал, неотразимо смешной фельетон. В рукописи, конечно. Дальнейшее мне известно только со слов нашего фельетониста. Я ему, конечно, верю, но за абсолютную правду не ручаюсь.

- Люда, - сказал он с порога.

- Лучше Людмила Павловна, - поправила она. - Слушаю вас.

- Цензор Матвейч, то есть Цезарь, всегда считал, что нужно предварительное знакомство, - Аванесян разглядывал ее самым бес-

церемонным образом. - Вы как? В таком же разрезе или, может, с вами заранее не надо? Может, сразу, а?

- Сразу ни в коем случае, - она слегка зарумянилась, не цензорским, но женским инстинктом улавливая двусмысленность.

- Вот и ладушки! Тогда взгляните.

Она стала читать, а он отошел к окну, чтобы стол, за которым она сидела, не мешал ее осматривать. Время от времени она поправляла юбку, а он время от времени поглядывал во двор, где работники разгружали грузовик с бумагой.

- Ну, как? - спросил он, когда ее глаза добежали до последней строчки.

- У нас в университете был спецкурс по фельетону, и лектор говорил, что сейчас фельетон очень актуальный жанр, но проходят они со скрипом. Это правда?

- Так вы журнал кончили? Коллеги, значит! Кому из нас последний день лица торжествовать придется одному? Ответ ясен: вам, Людмила Павловна, потому что вы молоды и прекрасно выглядите.

- Спасибо, - произнесла она. - Кстати, где там у вас в фельетоне происходит употребление алкогольных напитков в рабочее время? В вычислительном центре? Каком? Академии наук? А среди них есть члены партии?

- При чем тут? - удивился Аванесян, почувствовав недоброе.

- При том, что газету читает рядовой подписчик. Зачем ему думать, что члены партии на работе пьют? Сейчас я позвоню Варваре Николаевне насчет вашего фельетона.

- Не надо, а? - театрално взмолился Аванесян. - Она точно зарубит. Представляете, как будет неудобно, если наша советская цензура негативно отнесется к праправнуку Пушкина?

- А вы разве...?

Аванесян скромно опустил голову, дав ей возможность осознать данный факт.

- Ну, я-то сама что могу сделать для вас? - искренне удивилась Людмила Павловна.

- Вы можете все, если захотите! - так же искренне парировал он.

Она еще немножко подумала, но все же позвонила. Варвара Николаевна спросила, о чем фельетон, помолчала немного и сказала:

- Пойдите-ка, они этот фельетон уже раз печатали! Да они просто проверяют вашу бдительность.

- И тут я понял, - заметил Аванесян в застолье с приятелями, - что голыми руками ее не сломать.

Сексуальная атака фельетониста стала заботой всей редакции. В это вкладывали определенные надежды, - не на крупное, упаси Бог, а хотя бы на мелкие поблажки, на отсутствие придирок. Аванесяну давали советы, подарили новый импортный галстук, предлагали ключи от пустой тетиной квартиры.

- Мне, конечно, удалось, - рассказывал вскоре Аванесян, - и без особых трудов. Как женщина, должен признать, она весьма мягкая и податливая. Можете мне поверить, хотя, конечно, каждый может убедиться сам. Но как цензор она - бронепоезд. Никаких уступок даже мне, несмотря на большое и чистое чувство. И родство с Пушкиным не помогает! Гвозди бы делать из этих блядей.

Вскоре снова пришел бдеть, отлежавшись в больнице, Цезарь Матвеевич. А Людмилу Павловну перебросили в другой печатный орган, и она исчезла, не оставив Аванесяну телефона.

В дни, когда все газеты печатали длинные речи вождя, в редакции работали только телетайпы ТАССа и корректорская. Сотрудники от безделья слонялись по корридорам, скидывались на троих. Я столкнулся с Цукерманом возле буфета. В руках у него был черный хлеб.

- Зайдем ко мне, - неожиданно предложил он.- Чайком угощу. Крепким. Настоящим индийским из заказа. Не то что в этом паршивом общепите.

Отперев английский замок, он пропустил меня вперед в комнату с дощечкой "Уполномоченный Главлита. Вход воспрещен". Бывал я здесь не раз. У окна стоял стол - пустой, но при этом грязный. Все пространство четырех стен от пола до потолка закрывали полки, занятые толстыми папками, которые, по-моему, никто никогда не открывал.

- Сейчас схожу по ягодки, - весело сказал Цезарь Матвеевич.

- Это как? - не понял я.

- Тут у нас цветочки, а ягодки там. По правилам я должен вас выставить в коридор ждать. Ну, да ладно!

Он стал перебирать ключи, открыл один замок, потом другой и скрылся в соседней комнате. Дверь ее была вся в пятнах от мастики, которой ее опечатывали перед уходом. Ягодками Цезарь Матвейч называл секретные циркуляры, приказы, инструкции, списки, которые там хранились. Появился он, торжественно внося пачку чаю. При этом не забыл ногой проверить, заперлась ли дверь.

- Индийский! - гордо сказал он, втыкая в розетку кипятильник. - Страна у них, конечно, отсталая, а чай - как у людей. Сейчас заварим по-божески.

- Мы же атеисты, - не удержался я.

Он посмотрел на меня внимательно, будто проверяя свои подзрения.

- Слушай, - вдруг соскочив на "ты", с каким-то остервенением буркнул он и взял со стула отпечаток со свежей речью и пока еще неотчетливым портретом генерального секретаря. - О чем этот болтун думает, а? О чем они все думают? В стране нищета, люди живут хуже скотов, все идет в тартарары, а он - о торжестве передовой идеологии...

Я втянул голову в плечи, не зная, как реагировать. На всякий случай покосился на телефоны. А он с ненавистью швырнул на стул газетную полосу.

- Ведь это же... Это же все... - он, видимо, на ходу сменил слово. - Ведь это же... не так!

Не слышал я, чтобы в обычное ругательство было вложено столько мыслительной энергии. На всякий случай, я не поддержал разговора. А Цукерман, разрядившись, раздумал углубляться. Молча насыпал в кипяток заварки. Мы попили чаю, говоря о незначительных вещах. Недопитый чай он слил в термос, и я тихо отчалил.

Положение мое в редакции было непрочным, а стало тревожным. Однажды заведующий международным отделом Спицын, которого все не без оснований держали за стукача определенного ранга, дохнул на меня запахом виски. Виски эта регулярно перепадала ему на пресс-конференциях в иностранных посольствах.

- Насчет тебя к начальству приходили, интересовались.

- Кто?

- А из организации, которая интересуется. Между прочим, Це-Це тоже интересовались. Смешно, да? Запомни: я тебе ничего не говорил. Но за то, что я тебе ничего не говорил, с тебя бутылка.

Вскоре я ушел из редакции по собственному желанию, решившись просто писать прозу. С тех пор мы с Цезарем Матвейчем не перекрещивались. Прозу мою кромсали и запрещали в других редакциях и издательствах иные уполномоченные того же Главлита.

3.

Предавшись воспоминаниям, я чуть не проехал свою станцию.

Добежав по дождичку от метро до дому, я переоделся в сухое и, пока грелся чайник, развернул сверток. В трубку была скручена толстая ученическая тетрадь. Обложка ее, вымазанная типографской краской, в пятнах от чая и масла, свидетельствовала, что тетрадь служила долго. Была она в линейку. По линейкам струился крупный, почти без помарок, почерк. Название сочинения гласило: "Дневник бывшего цензора".

Сочинению Цезаря Матвейча Цукермана предшествовали два эпиграфа: "Цензор - строгий блюститель стыдливости и скромности". (Марк Цицерон).

"Согласен, на сто процентов. А если что не так, то виноват не цензор". (Цезарь Цукерман).

Я заварил чаю, поставил кружку на пол к дивану, наколот кускового сахару и, отогреваясь от весенней московской промозглости, стал, попивая вприкуску, читать доставшийся мне "Дневник"

Цензор - первый читатель абсолютно всего на свете, и именно поэтому на нем лежит большая ответственность перед всем прогрессивным человечеством, писал в предисловии Цезарь Матвейч. К сожалению, отсутствие в университетах факультетов, готовящих цензоров, а также цензуроведения как самостоятельной науки приводит к тому, что разумно обоснованные ограничения заменяются произволом и вкусовщиной. В результате наша отрасль отстает от требований времени, и в ней работает немало дилетантов.

Данная работа представляет собой первую в истории мировой печати попытку дать начинающим цензорам возможность познакомиться с ошибками, допущенными их старшими товарищами. И сделать

это не по слухам и сплетням, а путем прямой передачи опыта от их более опытных и уже набивших шишки коллег.

Здесь собраны ошибки, своевременно обнаруженные мною лично, промахи, за которые я пострадал, а также ошибки моих коллег, уполномоченных Главлита в различных органах советской печати, радио и телевидения.

Со слов моих наставников, которых уже нет в живых, я записывал для потомков также промахи цензоров прошлых лет. Молодые цензоры смогут учиться на выговорах, полученных старшими товарищами, и, таким образом, избегать неприятностей, поджидающих их буквально в каждой букве нашей советской массовой информации. Ибо, как сказал большой друг цензуры А.С.Пушкин, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни.

Далее в тетради, страница за страницей, следовали собранные покойным Цукерманом мысли и факты. Из обилия их, которое показалось мне утомительным, я привожу наиболее поучительные на тот случай, если читатель, по завещанию Цезаря Марковича, почувствует особое призвание и задумает избрать в жизни почетное ремесло уполномоченного Главлита. Ведь с цензурой во многих странах дела из рук вон плохи. Властям просто не на кого положиться. А в каждой букве заложена опасность контрреволюции.

Итак, вот о чем я прочитал в дневнике.

Слово "цензор" латинского происхождения. Цензура существует две тысячи четыреста лет, а своего расцвета достигла у нас. Полномочия цензора в Древнем Риме были гораздо шире, престиж выше, а материальное положение гораздо лучше. В Риме цензоров торжественно избирали из почетных граждан сроком на пять лет. Даже в царской России цензору было, как пишет Даль, "доверено от правительства цензировать сочиненья, одобрять или запрещать". А мне доверено бдительно следить от Варвары Николаовны. Думал об этом, стоя в очереди в буфете, когда шофер директора издательства нес шефу ящик с продуктами из распределителя.

Слово "нецензурный" означает "непристойный, неприличный". Значит, все бесцензурное аморально и неэтично. Это должно вдохновлять уполномоченных Главлита на борьбу за самоцензуру мыслей советских писателей, дабы они не рассчитывали, что их всегда и вовремя поправят.

Важная мысль: мелкая глазная ошибка может превратиться в ошибку политическую. Сегодня в заголовке "Редакционная точка зрения" чуть не пропустили букву "д". Своевременно сигнализировал.

Поступила инструкция, запрещающая публиковать что-либо отрицательное об охране природы. Можно только о том, как хорошо ее охраняют у нас. Причина в том, что президент Никсон обратился к Конгрессу с призывом: деньги, оставшиеся от программы "Аполлон", истратить на охрану природы. Он сказал: "Америка должна показать пример русским, как мы заботимся о будущем". У нас денег от космической программы пока не осталось, но в газетах должно быть видно, как много делается.

Только что поймал в подписной полосе: "пролетарский унтернационализм". Не злоумышленник ли работает наборщиком? Ограничился предупреждением по телефону по поводу замены буквы "у" на "и" без уведомления Варвары Николавны.

Какой ужас! В докладе Леонида Ильича по радио сам слышал: "Мы горды тем, что на нашем знамени золотом написаны пять букв - СССР." Трижды перечитал доклад в полосе. ТАСС своевременно исправил пять на четыре.

Рассказала на оперативке Варвара Николавна. Руководству Главлита позвонили из ЦК и спросили, почему так странно написано в "Правде": "На строительство не завозят бетон, сварочные аппараты и нижнее белье". Стали проверять. Оказалось, в тексте было "сварочные аппараты и консоли". Машинистка решила, что это ошибка и напечатала "кальсоны". А корректоры решили, что слово "кальсоны" неэстетично и заменили на "нижнее белье". Масштаба наказания не знаю, но при чем здесь цензура?

Московский кинотеатр "Знамя" зачем-то переименован в "Иллюзион", что может вызвать усмешку читателя. Лучше старое название не сообщать, а сообщить так: один из кинотеатров теперь называется "Иллюзион".

Заголовок "Девственность выступлений газеты" без напоминаний с моей стороны корректорская исправила на "Действенность".

В коридоре Обллита встретил коллегу Щ. Он ездил с комиссией в Курск разбираться. Там строится новое здание цирка. Курская газета информацию о ходе строительства закончила фразой:

"Завершим цирк к столетию Ленина!" Товарищи не подумали, в результате пострадал цензор.

Трагические устные воспоминания ветерана Главлита пенсионера К-ва. Вместо "Ленинград", рассказал он мне шепотом, было опубликовано "Ленингад". В слове "Сталин" букву "т" заменили на "р". Этот же впоследствии реабилитированный цензор вспомнил, как на Колыме встретил товарища по несчастью. В статье о Средней Азии тот пропустил, что в городе Сталинабаде установлен памятник Сталину, а Сталин еще был жив. Товарищ тоже еще был жив, но до послесталинской амнистии не дотянул.

Потребовал снять фразу в статье про зоопарки в США: "Раньше звери жили в клетках, а теперь живут в вольерах". Этих намеков на права животных нам не надо.

Тяжело с кадрами квалифицированных цензоров на периферии. На летучке в управлении Варвара Николаевна аж покраснела. В районной газете была напечатана заметка о плохой работе станции искусственного осеменения животных. В конце написано: "Сидят колхозники на станции и ждут, пока появится сперма".

Читатели прислали в ЦК партии другую районную газету, которую переправили в Главлит. Там статья о грубой продавщице продмага, которая прячет дефицитные продукты. Если покупатель ей не нравится, продавать отказывается. Статья называется: "Иванова не дает".

Че-пе! Снова обнаружил корректорскую ошибку в подписной полосе. "Советская космическая техника" - в слове "космическая" пропущена первая буква "с". Провел в корректорской совещание совместно с руководством газеты на тему о бдительности. Сообщил Варваре Николаевне о приказе главного редактора: завкорректорской - строгий выговор, остальным корректорам обычные.

На центральном телевидении и радио указание лично тов. Лапина не выпускать на экран людей с бородами, а также без галстуков. Всех заставлять бриться и иметь в студиях дежурные галстуки. Интересно, как они будут выполнять этот приказ на радио? Возможно, однако, что то же правило введут у нас для газетных иллюстраций. Взять на заметку, проконсультироваться заранее как насчет бород, так и насчет галстуков.

Уволен литсотрудник отдела пропаганды В. Он провел интервью с секретарем комсомольской организации института. Оказалось, что это был не секретарь, а какой-то неизвестный, назвавшийся шутки ради секретарем. Мне поставлено на вид за то, что не потребовал визы. Но давайте мыслить шире: будет ли указание проверять документы перед интервью?

Состоялся специальный инструктаж по неконтролируемым ассоциациям. Давались примеры подтекстов. Сложность в том, что для их обнаружения приходится по несколько раз читать одно и то же, но при этом бдительность ослабевает. Пришел к выводу, что некоторые источники, уже известные, цитировать теперь нельзя. А по радио сейчас передают арию из оперы "Демон". Шаляпин, как ни странно, поет: "Проклятый мир!" Возможно, их уполномоченный Главлита просто не был на инструктаже.

В связи с неконтролируемыми ассоциациями в сводке Центрального института прогнозов я запретил строку: "С Запада надвигается потепление". Сообщил их руководству о двусмысленности информации. Руководство не поняло. Сообщил Варваре Николаевне. Она похвалила меня и сказала, что это необходимо включить в следующее циркулярное письмо. Лучше бы денежную премию.

Я опять недобдел и получил выговор из-за халатности дежурного по отделу иллюстраций. Изображение маршала Гречко при пересъемке тассовской фотографии на цинк оказалось зеркально перевернутым - ордена на правой стороне груди. Обнаружили, когда утром позвонили из Министерства обороны.

Из интервью с директором института стоматологии: "Каждая страна вносит свой большой вклад в развитие стоматологии. США идут впереди нас в лечении зубов, мы - впереди в теории изготовления протезов". Политически здесь все правильно, но субъективно я страдаю от того, что у нас теория так далеко ушла вперед.

Внимание! Сокращения в тексте таят опасность. Написано в статье: "Благодаря проведенным мероприятиям, КГБ-2 обслуживает в месяц на 1200 человек больше". Выяснил, что КГБ-2 - это Криворожская городская баня № 2...

4.

На этом дневник обрывался.

Не окончил своего труда, завещанного от Бога, Цезарь Цукерман. Не сделал никаких обобщений, а кое-что приукрасил, например древнеримскую цензуру, которую на самом деле римляне после отменили. Не пришел Цензор Цезарь ни к каким выводам ни на бумаге, ни в жизни. Впрочем, может, и пришел? Ведь распорядился отдать тетрадку. Но почему именно мне?

Общались мы мало даже во времена совместной работы. Но и тогда общение носило, как бы это сказать полюбозней, специфический характер.

Он трудился на совесть, и при этом, оказывается (вот уж кто бы мог такое о нем подумать?), потихоньку все записывал. А газета часто печатала мои рассказы, куски из выходящих книг, рецензии на них, и он был их первых читателем, самым внимательным. От него, конечно же, не ускользали мои неконтролируемые ассоциации, - уж не знаю, как он на них реагировал. И если кое-что проскальзывало, то почему? Не заметил? А может, теперь думаю я, сделал вид, что не заметил?

Потом мой первый читатель первым узнал из секретного циркуляра, что моя фамилия больше не должна появляться в печати. Это тянулось годами. Я не встречался с ним в жизни даже случайно. А он бдил, чтобы я не встретился с ним в литературе.

Но давайте взглянем на деяния этого ответственного, я бы даже сказал, официального читателя шире. Вдруг то, что делал Цензор Цезарь, было благом?

Печататься могли только те, кто соглашался приспособиться. И я, как многие другие, пытался это делать. Он же не допускал в свет подлинных художников, настоящую литературу и тем способствовал сохранению всего достойного в неизуродованном виде. Что, если он давал нам шанс не становиться приспособленцами, остаться чистыми, не лезть в мышеловку?

Препятствуя публикации значительных независимых мыслей, цензор заставлял языкастых уходить в намек, в междустроичье, в заоблачные ассоциации и тем совершенствовал культуру письменного общения. Все запрещаая, цензура накапливала недовольство, оппозицию,

создавала ореол таинственности над диссидентством. Запрет создавал духовный дефицит. Результаты оказывались обратными желаемым. Цензура способствовала прогрессу.

Понимал ли это Цезарь Маркович? Чего желал он сам? Вот вопросы, на которые никогда не получить ответа. В нем, видимо, что-то происходило. Для краткости я давеча опустил окончание разговора с женой Цезаря Матвевича. Но теперь понимаю, что конец этот необходим.

Она резко ушла от меня тогда на площади Революции. Но оглянулась и возвратилась.

- Извините, - сказала она, задыхаясь. - Боюсь я. Может, они следят за такими, как вы.

- Вряд ли. За всеми не уследишь.

- Вы в этом уверены? Я в молодости сама работала в НКВД, правда, простой машинисткой. И уже тогда они старались следить за всеми. Знаете, Цезарь Матвевич вас часто вспоминал последнее время. Все интересовался разными вопросами.

- Какими вопросами? - спросил я, делая вид, что не понимаю.

Мне хотелось, чтобы она сама объяснила. Пожав плечами, она печально усмехнулась.

- Ну, вы ведь уже одной ногой там...

- Но другой-то здесь, на веревке. А он, что же, тоже захотел туда?

- Нет! - испуганно отрезала она. И уже спокойнее прибавила. - Да и кто бы нас выпустил с его секретностью? Он ведь как начинал? Отправлял заявления в высшие инстанции, что в Москве следует открыть еще один почтовый ящик: научно-исследовательский институт цензуры. После жалобы писал, что уполномоченным Главлита не платят премий за перевыполнение плана. А кончил...

Она опять оглянулась, хотя вроде бы никто близко не стоял, и перешла на шепот.

- Он стал решать вопрос, кто был хуже - Гитлер или Сталин.

- И решил?

- Говорил, что Сталин хуже, представляете? А когда читал газеты, будучи уже на пенсии, он мне твердил, что на Главлит надо бросить атомную бомбу.

- Как же Цезарь Матвейч со своим пятым пунктом вообще попал в Главлит?

- Он сам удивлялся. Воевал всю войну, кончил майором. Потом занимался снабжением в армии, пока его при Хрущеве не выперли в отставку. В Главлите у него работал однопольчанин, которого туда бросили на укрепление из органов. Представляете, крупный чекист и совершенно не антисемит!

- Не может быть, - глупо подначил я.

- Честное слово! - обиделась она. - Он Цезарю сказал: "У тебя офицерское звание, два ранения, партбилет, куча орденов - попробуем всем этим перекрыть твой генетический дефект".

Я вспомнил канун дня победы, на который Цезарь Матвейч явился, увешанный орденами и медалями. Редакционная молодежь тогда над всей этой атрибутикой уже потешалась. Говорили, что ордена на толкучке по пятерке штука покупают. "Я же сам воевал, - оправдывался он. - Сам! Не дядя!" А кто-то в буфете, не заметив, что Цезарь Маркович стоял сзади, изрек, что у цензора ордена за обрезание литературы и искусства. Он ведь и в самом деле спустя четверть века после войны еще сражался. Как выразился Аванесян, "под командованием Варвары Николавны".

- Стало быть, генетический дефект успешно перекрыли?

- Перекрыть-то перекрыли... Но потом дети подросли... У нас сын и дочь, оба на меня записаны, русские. Дети стали стыдиться его профессии. Муж собрался на пенсию уйти. И вот...

В глазах у нее остановилось по слезе.

- Его торжественно, с почетом похоронили, - с чувством заявил я.

- Откуда вы знаете?

- Слышал.

Ничего я, разумеется, не слышал, просто хотелось что-то утешительное сказать.

- Хоронить его мы хотели сами. Но приехал представитель редакции, ну, завпохоронами, что ли, и заявил, что Цезарю Матвейчу положена по рангу и как фронтовику гражданская панихида по месту работы. А муж мне оставил письменное завещание и там написано: похороните меня на любом кладбище, но только под музыку гимна Израйля.

- Израйля? - поперхнулся я.

- В том-то и дело! Я об этом товарищу из редакции шепотом сообщила. Он хмыкнул, как вы сейчас, но обещал доложить руководству. И знаете, действительно раскошелились, заказали оркестр.

- И сыграли гимн Израиля?!

- Сыграли гимн Советского Союза. Для газеты некролог подготовили. Мне велели приехать проверить, не перевраны ли даты. Сильно написали: "Безжалостная смерть вырвала из наших рядов верного бойца славной большевистской печати"... И дальше так же хорошо.

- Как же, я читал! - подтвердил я.

На лице ее возникло подобие улыбки и тут же погасло.

- Некролог о своем сотруднике цензура не пропустила.

Я поцеловал руку вдове моего самого придирчивого читателя, и женщина тихо ушла.

Примечания издательства

Для своих микророманов Юрий Дружников выбирает странные судьбы больших и мелких "винтиков", без которых советский механизм остановился бы еще раньше. Хотя имена в рассказанных здесь историях изменены, в основе сюжетов лежат, как правило, подлинные факты. Юмор, ирония, интерес к парадоксам повседневной жизни - неперенные черты дружниковской прозы. Бернард Маламуд писал в 1979 году, что у Дружникова серьезное и сатира соединены и это говорит о таланте прозаика. Действительно, печальное и анекдот слиты в этой книге воедино, как это и бывает в жизни. Судьба микророманов, входящих в сборник, разная. Но прежде - о самом термине "микророман".

Юрий Дружников давно пишет в этом жанре, несколько отличном от трех традиционных и, заметим, весьма гибких жанров русской прозы (рассказ, повесть, роман). Это можно посчитать литературной игрой, попыткой озадачить читателя. А можно отнести к этому как к серьезному эксперименту или даже найти корни малоформатного романа в истории русской прозы, - все зависит от желания читателя и критика.

По содержанию микророман шире и социально глубже рассказа, хотя имеет его черты. Отличен микророман и от повести. Критик Виссарион Белинский называет повесть "распавшимся на части... романом" и "главой, вырванной из романа". То есть повесть - часть романа, как бы незаконченный или несостоявшийся роман. А микророман - роман законченный, состоявшийся, только совсем краткий. В таком миниатюрном романе присутствует, однако, вся та фабула, которую традиционная европейская литературная школа требует от романа: *Vorgeschichte* (что было с героями до), *Zwischengeschichte* (что случилось между событиями) и *Nachgeschichte* (что стало по окончании действия).

Микророман - компактный жанр, поспевающий за быстротекущим временем. В микроромане романский сюжет упакован в рассказную оболочку. Макросодержание в микроформе. Микророман не спорит с романом (Дружников, например, написал большой роман-хронику о московских журналистах "Ангелы на кончике иглы"). Микророман и роман - просто разные жанры.

В каком-то плане микророманы, собранные в данной книге, отражают трагическую судьбу непечатной российской литературы нашего века. Еще в начале 70-х годов часть рукописи этой книги под названием "Тридцатое февраля" после тщательной фильтрации тем, мыслей и значительного количества урезаний была принята издательством "Советский писатель" в Москве. Вопрос об выпуске книги сам собой отпал, когда автора начали преследовать, исключили из Союза писателей, сняли со сцены пьесы, а книги изъяли из библиотек. Издательство передало манускрипт в КГБ, объяснив автору, что "папку не могут найти". Позднее на допросах микророманы фигурировали как улики против режима.

После 1985 года микророманы пришлось еще раз восстанавливать. Официальных обысков не было, но копия рукописи таинственно исче-

зла из московской квартиры писателя, в то самое время, когда он в очередной раз подвергался "интервьюированию" на Лубянке.

В Советском Союзе произведения Юрия Дружникова еще недавно назывались "грязной писаниной", "идеологической диверсией", "клеветой на наш строй". Сегодня отдельные сочинения перепечатываются разными советскими изданиями. Выходят переводы в странах Европы.

В этой книге впервые собраны вместе восемь микророманов, заново отредактированных автором.

СМЕРТЬ ЦАРЯ ФЕДОРА. Начат в 1975 г., окончен в 1978 г. в Москве. Циркулировал в Самиздате, откуда попал на Запад. Впервые опубликован в журнале "Время и мы" (№ 45, 1979 г.) под названием, данным редакцией: "Смерть Федора Иоанновича". Перепечатан газетой "Новый американец", Нью-Йорк, № 96, 19 декабря 1981 г. и другими изданиями.

РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙ. Черновой вариант написан в 1963 г. Закончен в эмиграции, 1988 г. Опубликовано в журнале "Время и мы", № 103, 1988 г.

ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ. Написан в 1969 г. в Москве. Был напечатан с большими и множеством мелких купюр в журнале "Работница", Москва, № 10, 1973. Газета "Известия" 16 августа 1974 г. в статье В. Степанова "Сюжеты журнальной прозы" обвинила Дружникова во вредной философии и искажении образов советских людей: "Не правда ли, - говорилось в "Известиях", - выстраивается своеобразная галерея "героев". И это ("Деньги круглые" Ю. Дружникова) напечатано рядом со статьями и очерками о подлинных героях труда, людях духовно богатых, нравственно чистых, живущих делами и заботами страны". Микророман полностью опубликован в газете "Новое русское слово", Нью-Йорк, 18 июля 1989 г.

КОНЕЦ КОМАНДИРОВКИ. Написан в 1972 г. Распространялся в Самиздате. Опубликовано в журнале "Двадцать два", Иерусалим, № 20, июль-август, 1981 г.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК. Написан в 1966 г. Рукопись обсуждалась участниками семинара прозы Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве в 1969 году. "Автор, - говорилось в заключении, - обладает способностью удивлять читателя правдой. Его рассказы учат улыбаться. Это подлинная литература, потому что в происходящем никто из героев не виноват". "Последний урок" был предложен редактору "Нового мира" Александру Твардовскому. Тот решил опубликовать. Немного погодя, однако, Твардовский заявил: "Весь процент непроходного уже заполнил Солженицын, и места не осталось". Опубликовано в журнале "Время и мы", № 67, 1982 г.

ТРИДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ. Написан в 1973-74 гг. в Москве. Распространялся в Самиздате. Впервые опубликован в журнале "Время и мы", № 55, 1980 г.

ЛИШНИЙ ПЕРСОНАЖ В ВОДЕВИЛЕ. Первый вариант написан в конце 60-х гг. и опубликован в газете "Московский комсомолец" 28 апреля 1971 г. под названием "Драмкружок для двоих". Отсюда кинорежиссер Э.Рязанов заимствовал название своего фильма "Вокзал для двоих". Доработан в 1989 г. в Дейвисе, Калифорния. Главы опубликованы в альманахе "Панорама", Лос-Анжелес, 5-22 мая 1990 г.

МОЙ ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ. Микророман создан на основе подлинных записей очевидца. Вначале задумывался автором в виде "Дневника цензора" для одной из глав романа "Ангелы на кончике иглы", начатого в 1969 г. "Мой первый читатель" окончен в 1985 г., циркулировал в Самиздате. Впервые напечатан в "Новом русском слове", Нью-Йорк, 26 июля 1988 г.

Об авторе

Юрий Дружников - русский писатель третьей волны эмиграции, прозаик и литературовед.

На Западе имя Дружникова появилось в 1979 году, когда он был изгнан из Союза писателей в Москве за инакомыслие и опубликовал в газете "Вашингтон пост" свои воспоминания "Я родился в очереди" и "Исключение писателя № 8552", появившиеся затем во многих изданиях. С тех пор проза, литературоведческие статьи и эссе Дружникова печатаются в русскоязычных изданиях Америки и Западной Европы.

Дружников родился в Москве (1933), в семье художника. Он филолог, преподавал, опубликовал в Советском Союзе несколько книг, которые затем были запрещены. Американский ПЕН-КЛУБ избрал московского писателя почетным членом. Три американских университета прислали ему приглашения читать лекции. Но в отместку власти в те-

чение десяти лет не разрешали Дружникову выехать на Запад. Основные работы Дружников много лет писал в стол.

В 1987 году, после скандала с организацией в Москве публичной выставки "10 лет изъятия писателя из советской литературы", Дружников эмигрировал. Он попал на американскую литературную ярмарку, когда, казалось, все запретное уже описано и интерес к советской жизни упал. Выяснилось, однако, что писателю есть о чем поведать издавшему виды западному читателю.

"Микророманы" - третья книга писателя, выходящая на Западе. В ней собраны произведения разных лет, невыдуманные смешные и грустные истории о нелепых аспектах жизни в России накануне нынешней смуты.

Дружников живет в Дейвисе, США. Он профессор Калифорнийского университета.

About the Author

Yuri Druzhnikov, a Russian prose writer and scholar, was born in Moscow in 1933. His father was a painter, his mother an archivist. He grew up in a circle of artists and intellectuals, most of whom disappeared during the years of the Stalin terror.

He worked as a teacher, for a time he was an editor on a large Moscow newspaper, a stint which supplied much of the first-hand source material for his novel, "Angels on the Head of a Pin". He has many published works to his credit, including short story collections, a novel, and three research books.

All this activity came to an abrupt end when open-minded Druzhnikov touched upon sensitive official ideological points by investigating their use in Soviet literature and culture. For those acts he was expelled from the Soviet Writers Union and subjected to ten years of harassment and threats by the KGB.

During that time he was forbidden either to publish or make any public appearance in Russia, or to leave the country. When a manuscript of his was discovered during a KGB house search, he was threatened with imprisonment in labor camp or incarceration in a mental hospital, if that manuscript should appear in the West.

Finally, in 1987, in the aftermath of the scandal aroused by his self-organized exhibition entitled "Ten Years of a Non-Writer," Druzhnikov was at least allowed to emigrate. He now lives in California with his wife and son, and teaches Russian literature at the University of California at Davis.

Beatrice Stillman

Publications in the West (in Russian):

The Myth of Pavlik Morozov.

An investigative study of the boy informer who denounced his father as an enemy of the State and became the Soviet Union's No.1 child hero. London: Overseas Publications, 1988.

Angels on the Head of a Pin.

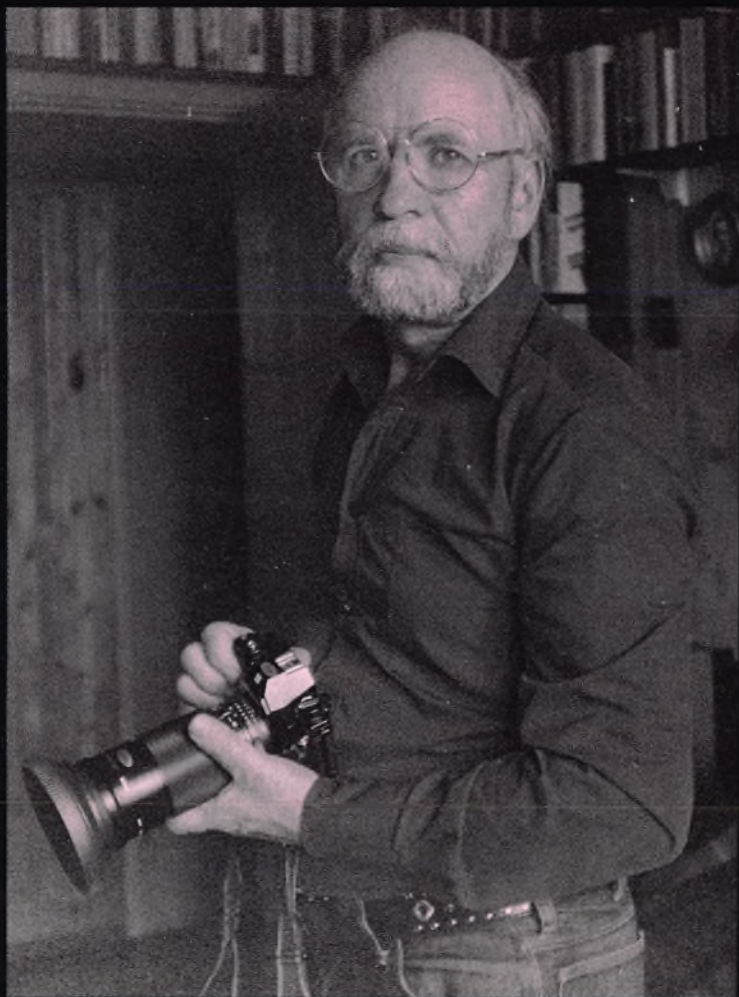
Secrets in the official and private lives of the men and women responsible for putting out a Moscow's biggest newspaper. A novel of suspense. New York: Liberty Publishers, 1989.

Micronovels.

Little known aspects of contemporary Soviet Life: actors and taxi drivers, teachers and censors, wheelers and dealers, Party bigwigs and party girls.

Содержание

СМЕРТЬ ЦАРЯ ФЕДОРА	
The Death of Tsar Fyodor	
5	
РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙ	
A Crack in the Pink Lampshade	
26	
ДЕНЬГИ КРУГЛЫЕ	
Money Gets Around	
48	
КОНЕЦ КОМАНДИРОВКИ	
The End of a Business Trip	
72	
ПОСЛЕДНИЙ УРОК	
The Final Lesson	
89	
ТРИДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ	
February 30th	
107	
ЛИШНИЙ ПЕРСОНАЖ В ВОДЕВИЛЕ	
A Superfluous Personage in Vaudeville	
131	
МОЙ ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ	
My First Reader	
152	
Примечания издательства	
Notes	
173	
Об авторе	
177	
About the author	
179	



Другие книги Юрия Дружников:

"Вознесение Павлика Морозова" (русское издание - Лондон, ОПИ, 1988). Первое документальное расследование "убийства века" - смерти самого известного доносчика, ставшего монументальным и унылым символом советской системы. В книге на основе документов и показаний оставшихся в живых свидетелей подробно рассказывается о реальном Павлике Морозове, о тайной операции ОГПУ-КГБ, организованной в преддверии большого террора тридцатых годов, и о тех писателях и деятелях искусства, кто создавал миф о стукаче-герое.

"Ангелы на кончике иглы", роман (русское издание - Нью-Йорк, Либерти, 1989). Трагикомическая хроника, действие которой происходит в редакции центральной московской газеты. Автор раскрывает закулисные тайны советской журналистики и мафиозную природу высших эшелонов власти, рассматривает комплексы советской интеллигенции, диссидентов, правых, обывателей. Это роман о любви и предательстве, о сексе по-советски, о слабой надежде выжить.